

РАФАЭЛЛО ДЖОВАНЬОЛИ

ОПИМИЯ



Всемирная история в романах

Рафаэлло Джованьоли

Опимия

«ВЕЧЕ»

1875

Джованьоли Р.

Опимия / Р. Джованьоли — «ВЕЧЕ», 1875 — (Всемирная история в романах)

ISBN 978-5-4444-8379-4

Перу итальянского писателя Рафаэлло Джованьоли (1838–1915) принадлежит несколько увлекательных романов, посвященных жизни Древнего Рима, среди которых «Мессалина» и «Опимия». Красивая и властолюбивая римская патрицианка Мессалина мечтает стать императрицей. Ради достижения своей цели она готова одарить ласками и молодого воина и старика ростовщика, обратиться к колдунье за зельем, устроить заговор. Ее стихия – интриги и козни, и ей удастся добиться своего, когда жертвой заговора становится жестокий, алчный и безнравственный правитель Гай Цезарь Август Германик по прозвищу Калигула. 216 год до Рождества Христова. Римская республика на грани полного разгрома. Непобедимая армия Ганнибала наносит римским войскам одно поражение за другим. Молодая жрица храма Весты, богини домашнего очага и жертвенного огня, весталка Опимия спасает от казни Луция Кантилия, которому самой судьбой уготовано поставить точку в кровопролитной войне.

ISBN 978-5-4444-8379-4

© Джованьоли Р., 1875

© ВЕЧЕ, 1875

Содержание

Глава I. Рим после поражения у Тразименского озера	6
Глава II. В которой мы ближе знакомимся с Луцием Кантилием и встречаемся с весталками Опимией и Флоронией	18
Глава III. Фабий Максим Кунктатор	32
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Рафаэлло Джованьоли

Опимия

© Москвин А.Г., перевод на русский язык, 2016

© ООО «Издательство «Вече», 2016

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016

Сайт издательства www.veche.ru

Глава I. Рим после поражения у Тразименского озера

В день перед майскими нонами (6 мая) 537 года римской эры, около четырех часов утренней стражи (а точнее – за десять минут до полудня) на Латинской дороге появился конный ферентарий¹; он вихрем влетел в город на семи холмах через Ратуменные ворота.

По изможденному виду как лошади, так и всадника можно было сразу догадаться: они без передышки проделали долгий путь. По бокам животного сочилась кровь, ноздри дымились, пасть и удила были покрыты белой пеной. Одежда всадника была в совершенном беспорядке; на бледном лице застыло выражение ужаса.

– Беда... Я привез вам беду, – ответил фарентарий на вопросы стражников, охранявших Ратуменные ворота, когда те приказали ему остановиться.

И, снова прищпорив коня, он продолжил свой путь, отвечая на новые расспросы приратников:

– Я из лагеря консула Гая Фламиния.

И помчался вниз, безудержно, по Ратуменной улице, через Мамертин к повороту на римский Форум.

Тем временем горожане, которым случилось по делам проходить по этим улицам либо пересекать их, с удивлением смотрели на стремглав летевшего фарентария, другие останавливались, третьи, менее загруженные делами, ускоряли шаги вслед воину.

А тот вскоре оказался на Форуме, где в этот час толпились граждане, пожелавшие присутствовать на обсуждении дел, проходившем в ближнем храме Конкордии, перед претором Марком Помпонием. Кто-то прогуливался со своим патроном, обсуждая общественные дела, кто-то сидел на ступенях Гостилиевой курии, у колонны Мения или у трех статуй сибилл, кто-то стоял, насмехаясь над магистратами этого года, кто-то обменивался новостями о консульских армиях или о враждебном и внушающем страх войске Ганнибала.

– Бери Кастора и Поллукса в свидетели, спят, значит, наши консулы, если нет вестей от них, – витийствовал мужчина лет пятидесяти с загорелым лицом, которое пересекал широкий шрам, – не так, не так велись войны двадцать девять лет назад, когда я был молод и сражался в легионе консула Луция Цецилия Метелла, осадившего карфагенян в Лилибее; мы не были такими ленивыми при консуле Гае Лутации Катуле, который в 513 году разбил могучий карфагенский флот возле Эгатских островов, а флот тот составляли четыре тысячи кораблей; победой этой он положил конец Пунической войне, и я также был в этой памятной битве; и не так позже, в 522 году, вел себя консул Квинт Фабий Максим Веррукоз, победитель лигуров и триумфатор.

– Ну, тогда жди мартовских ид следующего года, чтобы посмеяться над подобными действиями нынешних консулов Гнея Сервилия Гемина и Гая Фламиния Непота... Может, до той поры какое-нибудь славное дело опровергнет твое издевательское карканье.

Так ответил ветерану шестнадцатилетний юнец, еще носивший претексту, а старик, покачивая в сомнении головой, быстро добавил:

– Да ладно... Сульпиций, чтобы я да поверил в эти дитячьи пророчества... Я очень хочу и даже призываю богов-покровителей Рима обратить меня в лжеца, но я слишком уж боюсь, что из-за консула Фламиния Республика попадет в большую беду. Он, не совершив жертвоприношения ни Юпитеру Всеблагому, Величайшему, ни Юпитеру Датскому против всех благочестивых обычаев и религиозных традиций, не испросив даже ауспиций, надсмеваясь над людьми и богами, тайком отправился к своим легионам и принял командование ими. Хуже того, потом

¹ Ферентарии – легковооруженные всадники, экипированные луками и пращами; их присылали римлянам союзники (Варрон. LLV. 57). (Здесь и далее примеч. авт.)

прошел слух, что он принял командование двумя своими легионами вопреки ауспiciям, сделанным открыто, после жертвоприношений, в его лагере, за валом; во время жертвоприношения телянок, уже пораженный жрецами, раненый, вырвался и побежал, обрызгивая кровью окружающих.

Крик ужаса и смятения вырвался одновременно у многочисленных граждан, присутствовавших при разговоре ветерана с юнцом.

– Ох, это роковое предсказание!

– Безбожник Фламиний!

– Горе ему!

– Будь он проклят!

– Несчастливые времена!

Все эти религиозные до суеверия римляне глубоко возмущались поступками консула, посмевшего издеваться над предсказаниями и дерзнувшего выступить против Ганнибала, который в прошлом году уже дважды разбил римлян – при Тицине и Требии.

– К несчастью для нас, беда его подстерегла! Помню, когда был я еще мальчишкой в претексте, какая участь постигла в 505 году Публия Клавдия Пульхра. Консул этот увидел, что священные куры не хотят клевать рассыпанное перед ними зерно, и, разгневанный предсказанием, не соответствующим его честолюбивым намерениям, святотатственно швырнул птиц в море, крикнув при этом:

«Пусть напьются, раз уж не хотят есть!» Поэтому флот наш, которым он командовал, был разбит при Тропани карфагенянами, и девяносто три наших корабля попали в руки врага, а восемьдесят семь нашли жалкую смерть в морских волнах...

– Горе тем, кто глумится над божественным! – воскликнул кто-то из горожан.

– Горе, горе! – подхватили хором все присутствующие.

И короткое молчание наступило после этих восклицаний.

Первым нарушил его ветеран. Вскинув голову и заметив, как несколько стервятников покружились в воздухе и уселись на крышу храма Конкордии, он сказал с изумлением и тревогой в голосе:

– Спаси нас, Кибела, мать богов... Что это?

Все тут же задрали головы, раздались крики ужаса, многие побледнели от страха.

– Какое недоброе предсказание!

– Посланцы беды!

В это время ферентарий вылетел на середину форума, осадил лошадь, спрыгнул на землю, взял животное под уздцы и, протиснувшись сквозь толпу, предстал перед претором Марком Помпонием.

Тот встал с курульного кресла и, словно прочитав по лицу гонца страшное известие, спросил с тревогой в голосе:

– Откуда ты?

– Из лагеря под Аретием.

– Невеселое известие ты привез?

– Увы! Хуже некуда...

– Следуй за мной, – поспешно прервал его претор.

И, оставив ни с чем горожан, которые только что вместе с ним обсуждали общие дела, вошел в курию, а за ним скрылся и ферентарий.

Гонец коротко, с трудом находя слова, рассказал претору о том, как войско, ведомое консулом фламинием, встретилось с Ганнибалом в болотистых теснинах среди холмов, окружающих Тразименское озеро, и было разбито в пух и прах. Сам консул погиб.

При этом известии претор пришел в смятение. Тем временем толпа снаружи, привлеченная отчасти приездом растрепанного ферентария, пришла в волнение от слухов, порожденных

несколькими словами гонца, долетевшими до тех, кто стоял поближе к претору. Слухи эти разрастались, становясь все более значительными и важными по мере своего распространения в толпе, которая росла с каждым мгновением.

– Что произошло?

– Не знаю, спроси у Петрея.

– Я тоже ничего не знаю, клянусь Геркулесом! Не могу протолкнуться вперед... Хотел бы...

– Да что случилось?

– Думаю, что-то серьезное, клянусь Юноной Монетой!

– Серьезное?... Лучше сказать – ужасное!

– Кто это говорит, о боги? Кто?

– Авдений, клянусь Геркулесом! Авдений был рядом с претором Помпонием, когда прибыл гонец.

– Гонец? Что, гонца прислали?

– А ты разве не знаешь?... Вестник из лагеря Фламиния.

– Нет, от Гемина. Гонец прибыл из лагеря Гемина.

– И что нового?

– Было сражение?

– Ганнибала разбили?

– Да когда же прикончат этого варвара?..

– Что, убили этого коварного и хитрого карфагенянина?

– Я искренне верю в Гая Фламиния. Он человек открытый, смелый, честный, друг народа, противник патрициев²...

– Что до меня, то я ему нисколько не верю...

– Он заносчив и легкомыслен...

– Поносит богов...

– Груб и нечестив...

– Да ладно, скажите же наконец, что за вести привез из лагеря гонец?

– Нас разбили...

– Эй, спишь, что ли? Тебе, верно, привиделся дурной сон?

– Я говорю правду, клянусь Юпитером Феретрием... Правду... Консул Фламиний и его армия разбиты... в пух и прах...

– Ужасное несчастье... Резня...

– Уверяю тебя, это была вторая битва при Аллии...

– Да ты, святотатец, издеваешься над богами-покровителями Рима! Они никогда не допустили бы столь страшного события.

– Боги наслали на нас беду за наше неверие...

– О какой это беде вы говорите? – спросил один из только что подошедших.

– Наши войска разбиты... Погибли оба консула...

– А их армии разбежались...

– Десять тысяч римлян убито.

– Ливии Космиций слышал, будто ферентарий упоминал про двадцать тысяч!

– Да нет, тридцать, на нашу беду. В том убеждал меня Тит Вергунтей, а он был рядом с претором, когда прибыл посланец.

Так судили горожане в толпе, которая непрерывно присоединялась к той кучке, что стояла у ступеней курии. Легко представить уныние, охватывавшее людей, и возраставший, ширившийся с каждым мгновением страх, да оно и понятно.

² Тит Ливий. XXI, 63.

А тут еще, удесятая неизвестность, страх и людской ор, по следам ферентария подошли два верховых легионера, подавленных, выбившихся из сил, верхом на взмыленных лошадях, облаченных в доспехи, поскольку состояли они в тяжелой кавалерии, полагавшейся каждому легиону.

Возле курии легионеры спешили, справились о преторе и, отвечая обрывками слов на вопросы окруживших их людей, не без труда растолкали, ожесточившись, взволнованную подозрениями да слухами нахлынувшую на них толпу и проложили себе дорогу в курию.

А в это время на ближайшей площади Комиций, а точнее, возле статуи Пифагора, сошлись двое мужчин, остановились друг против друга; каждый смерил встречного взглядом, и оба тихонько вскрикнули от изумления.

Площадь Комиций была в это время пустынной, потому что находившиеся там люди, занятые беседой или просто гулявшие, привлеченные шумом, последовавшим за прибытием гонца из военного лагеря, бросились к расположенному чуть ниже форуму, спускаясь по короткой, но широкой лестнице, соединявшей две площади.

– Варвар! – воскликнул тот из двух встретившихся людей, что был помоложе.

– Осквернитель, – ответил другой глухим голосом, и на лице его изобразилось презрение; слово это он выдал с довольно-таки скверным произношением, выдавая слабое владение латинским языком.

Тот, что помоложе, в свои двадцать восемь лет был крепко сложен, довольно высок и строен, элегантно одет; черты его лица были правильными и выразительными, цвет кожи у него был умеренно-смуглый, глаза темно-карие, живые, поблескивающие искорками. Кудрявые светло-каштановые волосы отличались густотой, борода была подстрижена с большой тщательностью. По способу носить тунику и украшенную узкой полосой тогу молодой человек казался принадлежащим к сословию всадников. По его виду легко было понять, что молодой всадник всеми средствами хочет подчеркнуть данную ему природой красоту.

Другой мужчина, одетый по римской моде в белую тунику и тогу зеленоватого цвета, небрежно заброшенную за плечо, ростом был тоже высок, худощав, но мускулист и, кажется, очень силен. Лицо его было таким смуглым, что с первого взгляда в человеке этом узнавали африканца. Нос его был слишком велик у ноздрей и слегка вздернут; пухлые, выступающие вперед губы, угольно-черные маленькие зрачки, точно такие же, грубые, как свиная щетина, курчавые и короткие волосы делали африканца непривлекательным.

Оба этих человека стояли молча, окидывая один другого далеко не дружелюбными взглядами.

Первым, медленно и тихо, заговорил всадник:

– Значит, ты еще в Риме, Агастабал?

– Да, и не уеду отсюда, пока ты, Луций Кантилий, будешь...

– Молчи, ради Юпитера Всеблагого, Величайшего, – поспешно прервал Агастабала Луций, с опаской оглядываясь. – Молчи, заклиная твоими богами, злой карфагенянин!

На этот раз Агастабал повел вокруг испуганными глазами и проговорил энергично, но приглушив голос:

– Молчание за молчание... или смерть за смерть!

Лицо римлянина исказилось судорогой, глаза сверкнули пламенем страшного негодования, и правая рука невольно потянулась к поясу, стягивавшему тунику на талии, явно в поисках рукоятки скрытого там кинжала.

– Берегись своих врагов, римлянин, – вымолвил карфагенянин, отступив на шаг, – и смотри, если...

– Ты, значит, не хочешь покинуть Рим, гнусный шпион?

– Я уйду вместе с Ганнибалом, но только тогда, когда Ганнибал разрушит и сровняет с землей твой проклятый Рим, – издевательски ухмыльнулся в ответ карфагенянин.

– О Марс Мститель!.. Хорошо... Я не дорожу жизнью, но прежде пойду и расскажу пре-
тору о том, что в стенах Рима находится карфагенский лазутчик... И если я умру, то по край-
ней мере спасу родину от твоих происков. Ты тоже умрешь, мерзкий варвар...

Так говорил тихим взволнованным голосом, но с большим воодушевлением молодой
римлянин, устремив сверкающий ненавистью взгляд на карфагенянина, а тот, скрестив руки
на груди, угрожающе разглядывал Луция Кантилия, а потом издевка снова появилась на его
лице, и он произнес:

– Понимаю... Ты не боишься смерти... А что будет с Флоронией?

При звуках этого имени разгоряченное, залитое яркой краской возмущения лицо моло-
дого человека мгновенно покрылось мертвенной бледностью, руки его безвольно повисли, и
Луций, опустив голову на грудь, глубоко вздохнул. Вздох этот был подобен рыку раненого
зверя.

Африканец торжествующе уставился на молодого римлянина своими маленькими чер-
ными сверкающими глазками.

И оба снова застыли в молчании.

– Вижу, – немного погодя спросил Агастабал, – твой благородный гнев, римлянин, разом
поутих?

Луций Кантилий гордо вскинул голову и поднес инстинктивно сжавшуюся в кулак руку
к губам, угрожающим жестом потряс ею перед лицом африканца, после чего, еще раз бросив
на него презрительный взгляд, удалился по Этрусской улице.

Покачав головой, Агастабал злобно ухмыльнулся, бросил вслед удаляющемуся римля-
нину взгляд, в котором смешались ненависть и жалость, после чего, пожав плечами, – подобно
человеку, которому в данный момент все безразлично, – направился к лестнице, ведущей на
Форум, откуда доносился неясный ропот толпы, а она с каждым мгновением все разрасталась.

Тем временем следом за конными легионерами прибыл один из декурионов конницы
алариев³, вышедший невредимым из тразименской бойни.

Возбуждение, охватившее горожан, достигло грандиозных размеров; самые странные и
горестные вести облетали город с быстротой молнии, с каждым часом принимая все более
серьезный характер. Люди поспешно покидали дома и лавки; даже женщины, так редко пока-
зывавшиеся в публичных местах, спешили на Форум – бледные, испуганные, гонимые тре-
вогой хоть что-либо узнать о дорогих им людях, сражавшихся в консульской армии. Обшир-
ная площадь народных собраний через пару часов едва могла поместить толпу, теснившуюся
к портику курии, требуя буйными криками или плачущими голосами новостей о совершив-
шемся кровопролитии. Из здания курии поспешно выходили курьеры, остававшиеся при особе
претора, и в сопровождении четырех из шести его ликторов бежали по городу, стуча в двери
жилищ сенаторов, и призывали их именем магистрата в Гостилиеву курию на чрезвычайное
заседание сената.

В это время Луций Кантилий, еще ничего не знавший о несчастье, шел, взбешенный,
погруженный в свои мысли, по Этрусской улице. Навстречу ему катился людской поток. Слыша
гул голосов, отдельные выкрики, чьи-то вопросы и неуверенные, смущенные ответы, он страх-
нул с себя задумчивость и спросил у встречного горожанина, не случилось ли чего-то необык-
новенного.

– Эх, клянусь Квирином! Разбиты наши легионы, – ответил незнакомец, в котором по
темному цвету плаща и тоги легко было узнать плебея, и пошел своей дорогой.

³ **Аларии** – так называли конников, набравшихся среди римских союзников. Название свое они получили от латинского
слова ала («крыло», «фланг»), так как обычно сражались на флангах легиона (Тит Ливий XI. 40; Юлий Цезарь. Записки о
Галльской войне, I, 51).

Дойдя до того места, где Этрусская улица пересекалась с дорогой, соединявшей Новую и Югарию улицы, Луций Кантилий был остановлен толпой, стекавшейся по всем направлениям к Форуму. Он было отступил, но потом повернулся и ускоренным шагом вместе со всеми поспешил в том же направлении.

На Форуме шум и крики усилились до предела. И вот, намереваясь утихомирить людей, в сопровождении двух ликторов и в окружении сенаторов, то ли случайно оказавшихся на Форуме, то ли уже успевших прибыть на зов, появился претор Марк Помпоний. Стоя на верхней ступеньке лестницы курии, он простер к толпе руки, успокаивая этим жестом людей и давая понять, что намерен говорить.

Претор внешне очень изменился, и бледность его лица заранее давала понять, каковы будут его слова. Тем не менее мало-помалу на площади воцарилась тишина. Марк Помпоний звучным, но немного дрожащим от волнения голосом начал свою речь:

– Граждане! Мы проиграли... великую битву...

Единодушный горестный крик раздался в ответ; слова претора словно вызвали шквал, пронесшийся над штормовым морем.

Восклицания, плач женщин, проклятия мужчин были настолько громкими и интенсивными, что только те, кто стоял ближе всего к лестнице, смогли услышать дальнейшие слова претора.

– Мы разбиты, – продолжал Помпоний, – консул Фламиний убит, а вместе с ним у Тразменского озера пали пятнадцать тысяч наших солдат... Однако не будем терять присутствия духа, потому что сейчас соберется сенат и будет думать о том, что надо сделать для спасения отечества от грозящей опасности!

И претор опять скрылся в курии.

Горе и отчаяние людей стали непомерными; но вот посреди всеобщего крика и шума на середину Форума предваряемый *антеамбулоном* и в сопровождении *номенклатора* и многочисленной свиты друзей и клиентов появился мужчина пятидесяти пяти лет; по латиклавной тоге в нем сразу можно было признать сенатора.

Он был хорошо сложен, крепок и силен, хотя несколько полноват, у него были громадный лоб, небесно-голубые задумчивые глаза, правильной формы нос, немного расширяющийся к ноздрям, выступающие скулы, слегка пухловатые губы, широкий и выдающийся вперед подбородок. На правой щеке, у самого уголка рта виднелась бородавка величиной с горошину. Все еще русая, коротко подстриженная борода, в которой только кое-где просвечивал седой волосок, украшала белоснежное лицо патриция. Русые, с проседью волосы были подстрижены не слишком коротко.

Во всем облике патриция, прибывшего на Форум, ощущались величественность, благодушие и такой выдающийся ум, который поражал всех тех, кто сталкивался с его владельцем, и вызывал в каждом глубокое чувство уважения и почтения. На лице сенатора с первого взгляда можно было заметить два достоинства, которыми он, кажется, обладал в высшей степени: доброта души и твердость характера. Этим сенатором был Квинт Фабий Максим Веррукоз.

Квинт Фабий Максим, прозванный Веррукоз по бородавке, выросшей на его верхней губе, как и все члены его славного рода Фабиев, уже несколько веков отмеченного заслугами перед Республикой, с молодых лет посвятил свою жизнь служению родине. Он сражался в римских легионах еще во время Первой пунической войны и блестяще доказал свою стойкость и мужество. Квинт Фабий Максим последовательно служил центурионом, трибуном, квестором, эдилом и претором, а в 521 году впервые удостоился чести стать консулом.

Посланный на покорение лигуров, опустошавших постоянными набегами пределы Республики и ее союзников, он разбил их наголову, отгеснил на исконную их территорию и получил за эту победу желанный триумф⁴.

Сочетая редкую живость ума и недюжинную наблюдательность с мудрой выдержкой и смелостью в испытаниях, Фабий слыл также непревзойденным оратором, хотя свое красноречие он не привык сдабривать ораторскими украшениями; речи его были по-мужски краткими, что даже дало современникам повод сравнивать его с Фукидидом.

Теперь легко понять, почему в 526 году его вторично избрали в консулы, и, хотя у него не было возможности вести крупные военные операции в ходе мелких войн, которые в тот год начали проконсулы Луций Постумий и Гней Фульвий, он своей разумной и полной такта политикой поднял престиж Республики и завоевал дружбу соседних государств. Именно в этом году римляне были удостоены Коринфом чести состязаться в Истмийских играх, афиняне же предложили ему аттическое гражданство, дающее право принять участие в Элевсинских мистериях.

Такое его поведение и безмерное благородство души привлекли к Фабию сердца всех римлян, в сенате же он был выше всех своих коллег.

Когда люди, ошеломленные сообщением претора Помпония, увидели на Форуме Фабия Максима, спешно прибывшего в курию по призыву магистрата, чтобы обсудить и принять необходимые меры по спасению отечества, над которым нависла грозная опасность, римляне, кажется, вздохнули свободней.

– Вон он, Фабий Максим Веррукоз.

– Фабий Максим!

– Фабий Максим!

Такие крики раздались во взволнованной толпе, и, пока все торопились освободить проход триумфатору над лигурами, те, кто оказался совсем рядом, тянули к нему руки, моля о помощи и защите.

– Наши сыновья! – слышались отовсюду слезные голоса женщин. – Наши сыновья!

– Наши близкие... Мы хотим знать, что с ними!

– Как могло случиться такое несчастье?

– Мы хотим знать правду, всю правду!..

Фабий Максим старался успокоить людей словами утешения, старался внушить им надежду; он пообещал подробно рассказать о тяжести беды, как только сенат во всем тщательно разберется.

Не успел Фабий подняться на ступеньку лестницы Гостилиевой курии, как к нему с плачем кинулись две женщины в растрепанных одеждах; одна из них схватила его за руку, другая уцепилась за край тоги, после чего они в один голос запричитали:

– Скажи, что с нашими сыновьями, о Фабий, мы хотим узнать о наших сыновьях!

– Я – вдова Анния Волузия, – добавила первая, – муж мой погиб в прошлом году при Требии. У меня нет больше никого, кроме моего сыночка, милого мальчика, о Фабий! Он такой высокий, темноволосый и очень храбрый. Он служит опционатом в Третьем легионе. Пришли мне весточку от него!..

– А у меня было три сына, – подхватила другая и тут же разрыдалась. – Старшего убили семь лет назад галлы в битве при Фесулах; младший, восемнадцатилетний, погиб от руки карфагенянина в прошлом году при Тицине. Остался у меня только один сын, центурион из Пятого легиона... Узнай о нем, сенатор... У меня больше никого нет... Мой белокурый Секст Апулей... Я буду самой безутешной матерью, если узнаю, что и его уложили в этой самой несчастливой для нас битве.

⁴ Плутарх. Фабий Максим.

Фабий был тронут мольбами и слезами женщин и теплыми словами пообещал вдовам, что приложит все свои силы, чтобы узнать о судьбе их сыновей, а их самих призвал не падать духом, потому что их несчастье может оказаться не столь большим, как они сразу подумали, и отчаиваться преждевременно не стоит. Может быть, их сыновьям удалось спастись от кровавой бойни.

Чуть поодаль от женщин, задержавших на несколько мгновений Фабия Максима, а именно на нижних ступеньках лестницы курии, где толпились люди, стоял юноша немногим старше шестнадцати лет, среднего роста, довольно хилый и хрупкий на вид, с бело-розовым лицом, покрытым рыжеватым пушком, с рыжими волосами и голубыми поблескивающими глазами. Он был молчалив, мрачен и задумчив. Этого юношу звали Марк Порций Приск; за свой проницательный ум он был прозван Катонем.

Юноша был одет в грубошерстную претексту с широкой пурпурной каймой, заброшенную за плечо с некоторой небрежностью; левой рукой он сжимал свисавший на грудь золотой амулет.

– Отечество в опасности, о Фабий, – сказал он серьезным и печальным голосом, – напomini сенату, что Риму необходим диктатор.

И так как Фабий Максим, повернувшись к юноше, посмотрел на него с изумлением, пораженный, что столь мудрый совет исходит от юноши, который еще не облачился в мужскую тогу, Марк Порций добавил:

– Не удивляйся, сенатор, что слышишь слова совета от столь юного плебея; это не мешает тебе агитировать за мое предложение. Через десять дней мне исполнится семнадцать, я сниму претексту и одену панцирь, чтобы встать на защиту Рима.

Доброжелательно улыбнувшись юноше, казавшемуся таким серьезным в столь нежном возрасте, Фабий с трудом проложил себе дорогу среди столпившихся на лестнице людей и вошел в курию.

К тому времени солнце уже склонилось к западу, и темнота стала опускаться над густой толпой, заполнившей уже весь Форум; тысячи и тысячи голосов смешивались в один, исполненный ужаса, в крик, смешанный с рыданиями.

Вскоре начали прибывать и другие беглецы, спасшиеся от тразименской бойни; их тотчас же обступали люди, и все разом наперебой требовали от них новостей; но, конечно, слова этих солдат, еще не отошедших от ужаса опасной дороги и зрелища гибели легионов, не успокаивали тревогу толпы.

Однако мало-помалу люди стали покидать Форум и наводнять улицы города, разнося по ним самые печальные известия и безмерно увеличивая тяжесть катастрофы.

Жители отдаленных районов города, узнав о проигранном сражении, бежали, в свою очередь, на Форум, чтобы узнать самые точные подробности о произошедшем, тогда как многочисленные горожане, по большей части женщины, скопились на Мамертинской и Ратуменской улицах, встречая новых беглецов, и каждая мать с тревогой ожидала момента, когда можно будет всмотреться в лица прибывших, стараясь узнать в них своих сыновей, и матери, обманутые в этой надежде, утешали себя хотя бы тем, что смогут получить о них известие от прибывших, но их святое желание никто даже выслушать не хотел, и они снова раздражались тягостными жалобными криками и плачем.

В это время на совет в курию, в сопровождении факельщиков, собирались сенагоры, дабы решить, что следует делать в столь тяжелых обстоятельствах.

Ночью никто не сомкнул глаз; на улицах и площадях собирались кучки людей, расспрашивавших о новостях и получавших все более безнадежные и противоречивые ответы.

Одним из первых решений сенат удвоил, а то и утроил стражу у ворот и на городских стенах; призвав способных носить оружие граждан, претор собрал несколько центурий из легионеров-ветеранов, и те под командованием опытных в военном деле консуляров были отправ-

лены разрушать мосты через Тибр и Анион, которые могли облегчить путь врагу, если тот, преследуя беглецов по пятам, приблизится к римскому померию.

Наконец, стало светать, и дневной свет, казалось, принес какое-то утешение в души горожан, испуг и печаль которых сильно возросли в ночной темноте.

Но новости, принесенные группками беглецов, которые прибывали всю ночь, не оставляли больше места иллюзиям или надеждам на меньшую, чем было объявлено раньше, беду. На поле битвы остались лежать пятнадцать тысяч римлян, и среди них заботливый и мужественный консул Гай Фламиний, славной солдатской смертью добившийся забвения крупных промахов, совершенных неосмотрительным полководцем. Шесть тысяч легионеров попали в плен, девять тысяч спаслись, убежав в Этрурию и Омбрику, две тысячи из них ночью уже были в Рим.

– А где мой сынок?.. Он же был с тобой в третьем легионе!.. Он был с тобой... Гай Волузий, опционат Гай Волузий... – так спрашивала о своем сыне простолюдинка Волузия, женщина с мертвенно-бледным лицом, дрожащими и побелевшими от возбуждения губами, расширившиеся зрачки которой неподвижно уставились в молодого легионера, добравшегося во втором часу ночи до Ратуменских ворот.

– Да... верно... Он был со мной... в третьем легионе... – запинаясь, пробормотал легионер.

– И что с ним стало? – спрашивала бедная мать, истерзанная неведением, схватив солдата за руки и пытаясь заглянуть ему в лицо. – Что с моим Волузием?.. Говори... Говори, заклинаю тебя всеми богами-покровителями Рима!

И, пытаясь отвести взгляд от мраморного лица отчаявшейся матери, легионер заколебался. Она же воскликнула горестно:

– Ах!.. Убит... Убит, значит, мой единственный сыночек...

Отпустив руки солдата и закрыв лицо ладонями, она разразилась мучительными и безудержными рыданиями.

– Убит, – тихим, дрожащим голосом подтвердил беглец, тронутый ее болью. – Он храбро сражался с двумя нумидийскими конниками...

– О мой Волузий! Я никогда больше не увижу его, не услышу моего любимого сына! – воскликнула слезливым голосом несчастная мать, вцепившись себе в волосы.

И, рухнув на землю, она безутешно корчилась, окруженная всеобщей печалью и немым состраданием; присутствующие, застывшие при виде такого горя, не осмелились даже высказать слово ободрения несчастной.

И в это мгновение собравшаяся у Ратуменских ворот толпа разразилась криками, в которых слышались радость и надежда:

– Идут!.. Еще!.. Вон еще!..

И, привстав на цыпочки, все устремили тревожные взоры в облако пыли, поднимавшееся вдали над Латинской дорогой, в страстном желании различить прежде других в выступающих из пыли силуэтах желанные черты своих дорогих близких.

Это приближался манипул из пятидесяти или шестидесяти легионеров, спасшихся от тразименского разгрома. Под командованием центуриона они шли целый день и всю ночь через Сполетий и вот добрались до Рима.

Одновременный взрыв радостных криков, вопросов и ответов раздался в тот момент, когда манипул беглецов миновал ворота.

– Ах!.. Это ты?.. Живой?.. Ох, Мамерк!.. О мой сын!.. О любимый Лепид!.. О мой Октаций!.. Мама!.. Квинт!.. Сестра!.. О Лутаций!

Потом последовали объятия и страстные поцелуи, и слезы радости, и безмолвные ласки, и проявления чувств, словами непередаваемые. А разочарованные, выделявшиеся бледными и

печальными лицами, глядели с завистью на счастливых и стеной становились вокруг вошедших в ворота, выведывая у них о непришедших.

– А Фульвий Мегелл?.. А мой Манлий?.. А что стало с Цепионом?.. Где ты расстался с Ицилием Эрецином?.. Кто может сказать мне, что случилось с Семпронием Клавдием?.. Кто видел Лициния Поцита?..

– А что с Секстом Апулеем, центурионом Секстом Апулеем из Пятого легиона? Что с ним стало? – с лихорадочной настойчивостью спрашивала бедная Максима Апулея, уже лишившаяся ради отечества двух сыновей; сейчас она дрожала в судорогах, как осиновый лист, потому что, со вчерашнего вечера встречая прибывавших солдат, она не отыскала среди них единственного оставшегося у нее сына.

– О, кто скажет мне про центуриона Секста Апулея? Пока так выкрикивала эта несчастная с белым как полотно лицом, жалобно причитая, за спиной ее послышался мужской голос:

– Кто, кто это?.. Мама!..

Максима Апулея обернулась на этот голос, громко вскрикнула и, вытянув вперед руки, побежала туда, откуда он слышался; упав в объятия сына, она только судорожно открывала рот, не в силах произнести ни слова. Испуганно целуя его, она пыталась что-то сказать, но тут же раздражалась нервным смехом, лицо сияло радостью, но вдруг она камнем упала на руки сына и больше не двигалась. Неожиданное счастье убило ее⁵.

Легче вообразить, чем описать безутешное горе центуриона и вызванное этим печальным происшествием сострадание окружающих.

Что же до несчастной Волузии, то несколько знакомых горожан подняли ее и перенесли в домишко на Субуре, стоявший в одном из переулков возле Аргилета.

Среди тех, кто провожал несчастную мать до дома, был и всадник Луций Кантилий; после долгих, но безуспешных попыток утешить Волузию он покинул ее дом последним и пошел по Этрусской улице, намереваясь вернуться к Рагуменским воротам, но неожиданно столкнулся с Гаем Волузией, оптионом из Третьего легиона, который только что прибыл в Рим. Узнав, что матери объявили о его смерти, он поспешил домой, чтобы утешить ее.

– О, да ты жив, Волузий? – спросил изумленный Луций Кантилий.

– Не знаю, на счастье или на беду, благородный Луций Кантилий, но я уцелел в этой резне, – ответил юноша, а потом прибавил: – Клянусь Марсом Мстителем, то было не сражение, а сущая бойня. Мы не могли ни нападать, ни защищаться, окруженные врагами да туманом, по колено увязнув в болотной тине и в воде; мы были уверены в поражении прежде, чем схватились врукопашную. О, да будут маны милостивы к душе консула Фламиния, но это, конечно, из-за его надменности нанесено тяжелейшее поражение нашей родине. Ну, а теперь, раз уж нумидийцы оставили меня невредимым в этом аду, позволь мне пойти к матери и утешить ее после ложного объявления о моей смерти.

– А я пойду с тобой, если позволишь, ведь я провожал ее, безутешную, домой и только что оттуда вышел, – сказал Луций Кантилий.

Волузий на это ответил:

– Спасибо тебе и за прежнее твое сострадание и за теперешнее. Пойдем в дом, и да поможет нам Квирин, покровитель Рима.

И они отправились к Аргилету. Вдова Волузия жила вместе с мужем и сыном, пока один из них не умер, а другой не ушел на войну, в трех спальнях комнатухах в большом доме возле Аргилета.

Римские инсулы отличались от других жилищ тем, что собственно дома служили жильем только одной семье, главным образом собственникам. Большой дом, цнсула, сдавался в аренду нескольким семьям да еще лавочникам всякого рода.

⁵ Судьба этих двух матерей изложена исторически верно; о них пишет Тит Ливий (XXII, 7).

У простолюдинки Волузии не было за душой ничего, кроме маленького имения на этрусской территории, соседствующей с Римом; она жила в тех трех арендованных комнатках, расположенных на втором этаже дома, а так как после смерти мужа и в отсутствие сына она не могла найти желающих работать, и притом прибыльно работать, в имении, на котором уже тяготели долги, то для обеспечения собственного существования ей пришлось выучиться искусству мастерицы, изготавливавшей те вышитые каймы, которые служили для украшения краев палл, стол и женских туник, а также перевязей и жреческих повязок.

А так как Волузия стала очень искусной в этом ремесле, то случилось, что слава о ее мастерстве дошла до одной благородной матроны, Генуции, матери одной из весталок; Генуция рассказала о Волузии своей дочери, а та – другим жрицам богини Весты, своим товаркам. Так Волузия стала поставлять бахрому и ленты, которыми украшали головные повязки весталки.

На пути к Аргилету Луций Кантилий и опционат Гай Волузии обсуждали между собой, как лучше объявить бедной женщине о ее великой удаче и возвращении сына, которого посчитали погибшим, чтобы радость не погубила ее, как то случилось с Максимой Апулеей. В конце концов они решили, что первым войдет в дом Луций Кантилий и будет стараться подготовить Волузию ко встрече с сыном, а в подходящий момент тот устремится заключить в объятия свою мать.

Приблизившись к дому, Луций Кантилий вошел в портик, пересек атрий и направился к лестнице, что вела в коридор, в глубине которого находились комнаты Волузии, а опционат следовал в нескольких шагах за ним; на душе у него было тревожно и трепетно.

Но все же, подойдя к лестнице, Луций Кантилий остановился на ее последней ступеньке и вдруг, прислушавшись, уловил звуки мужского голоса, возбужденно говорившего в комнате Волузии.

– Да ну же, женщина, – угрожал неизвестный гость, плохо выговаривая латинские слова, – ты не скажешь, во имя своих богов, уверяю тебя, не скажешь.

А женщина твердым голосом отвечала:

– О, скажу, варвар, нечестивец... Клянусь тебе, клянусь непорочной Юноной Луциной, что ни твои угрозы, ни мое горе, сколь бы огромно и невыносимо оно ни было, меня не останавливают. Я завтра же пойду к верховному понтифику и расскажу про твои ужасные козни.

– Женщина, не вынуждай меня... Чем быть раскрытым и осужденным, я предпочту... Ты меня поняла?

– А ты понял, что я ничего не боюсь? Да, я несчастная мать, но из-за этого я не стану плохой гражданкой, я исполню свой долг...

– Здесь, в сумке, – сказал мужчина потише и более мягким голосом, – лежат пятьсот полновесных серебряных денариев⁶... после я дам еще – в награду за молчание...

В это мгновение появился Гай Волузий, на юношеском лице которого отражались чувства гнева, негодования и страха, когда он услышал обрывки этого диалога, и Луций Кантилий с трудом удерживал его от стремления неожиданно ворваться в комнату матери. Гай дрожащим голосом сказал вполголоса товарищу:

– О боги! Кто он такой? И за какое преступление он хочет купить молчание матери? Во имя Вулкана, пусти же меня!

– Стой... погоди, заклинаю тебя Юпитером Громовержцем, – прошептал Луций Кантилий, – замри и молчи...

И оба тревожно вслушивались, стараясь уловить, о чем говорит незнакомец в комнатах Волузии.

– Забирай свои деньги, нечестивец... Все золото мира не заставит меня молчать!

⁶ Сумма, довольно щедрая, если вспомнить о недостатке денег в Риме в то время и о ценах на продовольствие.

И тут из комнаты донесся стук сумки с деньгами, которую Волузия, очевидно, швырнула на пол.

– Будет лучше, если ты умрешь, – негромко, но страшным голосом сказал мужчина.

И в то же самое время Волузия закричала от ужаса, потом из комнаты донеслись шум возни борющихся людей, стук падающего табурета и новый крик женщины:

– На помощь! На помощь!

– Я здесь, я здесь, мама! – воскликнул Гай Волузий и, обнажив короткий меч, ворвался в комнату матери; за ним поспешил Луций Кантилий, в руке которого сверкнул клинок кинжала.

Вот какую картину увидели друзья: Агастабал – потому что это именно он угрожал жизни Волузии – преследовал с веревкой в руках, на которой была завязана затяжная петля, бедную женщину, устремившуюся к двери, из которой как раз появился ее сын.

И тут комнату снова наполнил громкий, резкий, ужасный крик. От неожиданности глаза матери страшно расширились, она увидела сына, протянула было к нему руки, потом в испуге попятилась, словно увидела перед собой призрак и, запинаясь на каждом слогe, воскликнула:

– Мой сы-но-чек... мой сын...

Больше Волузия ничего не сказала, а Гай прижал ее к груди и стал целовать в губы и в щеки; она же, затаив дыхание, безмолвно замерла в его объятиях.

В тот миг, когда Гай Волузий и Луций Кантилий вбежали в комнатку, место действия только что описанных событий, Агастабал, быстро оценив невозможность сопротивляться двум неожиданно появившимся вооруженным молодым людям, метнулся к окну, выходящему на улицу, вцепился обеими руками в подоконник и легко вспрыгнул на него со свойственным нумидийцам проворством; потом он перекинул тело наружу, осмотрелся и разжал руки, упав на проходившую под окном улочку.

Окна во вторых этажах римских домов находились невысоко над землей, так что карфагенянин смог приземлиться на ноги, не причинив себе никакого вреда. Луций Кантилий бросился к окну, намереваясь поразить Агастабала кинжалом или, по крайней мере, схватить его, но тот, быстро придя в себя после прыжка, моментально пустился бежать.

Тем временем Гай Волузий осторожно усадил свою мать, остававшуюся неподвижной в его объятиях, на деревянный табурет, еще надеясь, что она находится в обмороке; он хлопотал и хлопотал вокруг матери, пытаясь вернуть ее к жизни, пока не ощутил холод, быстро охватывавший конечности; и тогда Волузий в отчаянии, борясь с усиливающимися спазмами, закричал:

– Мама, мама! Это я... я, твой сын... Волузий! Это я, твой сын, мама!

Луций Кантилий, следивший за исчезающим Агастабалом и скрежетавший зубами от гнева, обернулся к жалостной группе, которую составляли умершая мать и остолбеневший сын, который еще не мог поверить своим глазам и не находил в себе смелости осознать свое несчастье. Луций, взволнованный совсем другим, спросил друга:

– Так что же это была за тайна, которую твоя мать унесла с собой в могилу?..

Подняв наполненные ужасом глаза на Луция Кантилия, несчастный Гай Волузий дрожащим голосом сказал в тупом оцепенении:

– Но, значит... она... мертва... Мама... Она и в самом деле мертва...

Кантилий, мрачный, молчаливый, стоял, сложив на груди руки. А несчастный юноша разразился мучительными безудержными рыданиями, душераздирающе вскрикивая:

– Мертва?!.. Мертва?!..

Выкрикивая это, он упал на бездыханное тело матери и, обхватив обеими руками ее голову, покрывая ее лицо горячими поцелуями, рыдая, срывающимся голосом восклицал:

– О бедная мать! О моя бедная мать!

Глава II. В которой мы ближе знакомимся с Луцием Кантилием и встречаемся с весталками Опимией и Флоронией

Если бы некто, попавший в Рим через Кверкветуланские ворота во времена только что описанных событий, прошел всю широкую и великолепную улицу, прорезавшую район Табернола, а потом повернул к Форуму и площади Комиций, то поблизости от двух названных площадей открылся бы обширный перекресток, образованный Священной дорогой и пересекавшей ее Новой улицей, которая шла от Форума к Капитолию. Придерживаясь левой стороны и не входя на Новую улицу, пешеход на углу, все с той же левой стороны Священной дороги увидел бы старинный дом в простом и строгом этруском стиле. Когда-то здесь находилась резиденция царя жертвоприношений, то есть жреца, распоряжавшегося процедурой принесения жертв; их в давние времена приносили цари, а потом здание отвели под жилье верховному понтифику и прочим священнослужителям, распоряжавшимся в Риме культовыми делами. Скромный портик, опиравшийся на два ряда простых кирпичных колонн, вел к входной двери, через которую попадали в вестибюль, где днем дежурил раб-привратник, а по ночам спящего в соседней комнатке привратника сменял огромный эфирский пес. Из вестибюля можно было попасть в атрий, исполненный тоже в этруском стиле, вокруг которого шла кирпичная колоннада; посреди атрия находился имплевий, нечто вроде цистерны для сбора стекающей с крыш воды, и располагался алтарь пенатов. По обе стороны колоннады помещались восемь небольших комнаток, предназначенных для жилья прислужников и низшего жречества, обязанного оставаться под одной крышей с верховным понтификом. В глубине атрия, с правой стороны от входа, маленький коридор вел в перистиль, обширный открытый дворик, вокруг которого шел портик, поддерживаемый 32 кирпичными колоннами. Вдоль задней стены атрия, также с правой стороны, находились две комнаты: одна была предназначена для библиотеки и архива священных книг, другую использовали под склад священных одежд и культового инвентаря.

С правой стороны перистильного портика можно было попасть в покои верховного жреца; с левой же стороны шли комнаты, служившие жильем, а одновременно и канцелярией авгуров, гаруспиков, фламинов и других жреческих коллегий. За перистилем виден был просторный зал, предназначенный для общих собраний жрецов; из него попадали в обширный сад.

Такова была резиденция верховного римского понтифика в 537 году от основания города, и хотя дом этот не сверкал украшениями, не блистал мрамором, мозаикой, картинами и дорогой обстановкой, был он одним из самых великолепных и просторных в Риме. В те времена греческие архитекторы и скульпторы еще не проникли в город Квирина, чтобы грубые и бедные кирпичные домики потомков Цинцинната, Манлия Курция и Фабриция превратить в великолепные мраморные дворцы надменных и женственных победителей азиатских владык.

— Через восемь дней после описанных в первой главе событий, около полудня, многочисленные граждане, собравшиеся под маленьким портиком и в протии жилища верховного понтифика, вели серьезный разговор о положении в стране. По разнообразию их одежд и отличий среди них можно было узнать представителей многочисленных жреческих коллегий Рима. Восемь из девяти самых могущественных и самых уважаемых авгуров преклонного возраста и сурового вида выделялись своим внешним видом. От других их отличала *тога претекста*, обрамленная снизу широкой пурпурной полосой; у некоторых из них, принадлежащих к патрицианскому сословию, под тогой, в которую они заворачивались с большим старанием и грацией, на подъеме ноги, стиснутом пурпурными шнурами, видна была латинская буква «С»

на серебряной пластинке, служившей пряжкой; эта буква означала, что граждане эти принадлежат к сенаторам.

Кое-где прохаживались, оживленно разговаривая, фламины Юпитера, Марса и Квирина, а с ними фуринальский и карментальский жрецы, священнослужители Флоры и Помоны. Голову каждого из них покрывала остроконечная шапка, называвшаяся апекс. А несколько *салиев, фециалов, гаруспиков* вело оживленный спор с лавинальским фламином и двумя *децимвирами Сибиллиных книг*.

Позади этих жрецов разного возраста и ранга, держась в почтительном отдалении, разговаривали между собой вполголоса несколько служивших жрецам чиновников, в том числе четыре секретаря верховного понтифика. С одним из них мы уже познакомились; это был Луций Кантилий, молодой человек всаднического сословия, который по протекции и по просьбе своего знаменитого рода, известного привязанностью к вере предков, был приписан к немногочисленному кругу избранников, посвященных в религиозные обряды, чтобы позднее ему легче было добиваться достоинства верховного жреца Юпитера, Марса или Квирина. В перистиле, кроме слуг верховных жрецов и рабов, под колоннами стояли эдиты, или храмовые сторожа, тубикинии, в обязанность которых входило оповещение народа о решениях жрецов, пуллarii, хранители священных кур, заклинатели, караульные, антеамбулоны, которые в праздничные дни расчищают дорогу жрецам, и наконец предшествующие фламинам ликторы.

– Чем больше гадания и предсказания кажутся неблагоприятными для Республики, – говорил один из децемвиров Сибиллиных книг, – тем ревностней, по моему мнению, надо советоваться со священными книгами, которые всегда в самых ужасных ситуациях своей мудростью помогали римскому народу.

– Да, верно, с помощью Аполлона Карментальского нам надо устроить эту церемонию под руководством верховного понтифика, – вмешался Лукреций Кассий, фламин Марса, дородный мужчина, потомок знаменитого рода Кассиев.

– Верьте мне, собратья, – говорил один из авгуров, – что, кроме зловещих пророчеств, предвещающих по дуновениям ветра и полету птиц великие беды, наблюдаются неслыханные чудеса, вестники новых несчастий и мук.

Все присутствующие умолкли, и многие задумались, а некоторые даже побледнели.

– В Капене, – продолжал через несколько мгновений авгур важным и меланхоличным голосом, – в белый день видели две луны, в Цере два часа текла смешанная с кровью вода, в Протесте, что невероятнее и чуднее всего, раскаленные камни падали с неба!.. Понимаете?..⁷

– А ты видел эти чудеса, Спурий Карвилий? Если они должны служить нам предостережением и возвещать волю богов, то почему, спрашиваю я, они никогда не происходят в Риме, где бы все мы могли их видеть и слышать, а лишь в далеких от нас краях?..

– Как это?.. – спросил удивленный и обиженный авгур Спурий Карвилий. – Ты смеешь сомневаться, не верить и насмехаться?..

– Да не сомневаюсь я, не смеюсь. Я только говорю, что верить рассказам суеверных людей, воспаленное воображение которых на каждом шагу видит опасности и пророчества, верить во всю эту чепуху – все равно что впасть в детство. Предостережение богов нам уже послано. Свидетельством этому являются наши поражения при Тицине, Требии и Тразимене. Но если мы и в самом деле обладаем волей и твердостью, как то пристало римлянам, то нам не следует пугаться бед, на нас обрушившихся, не следует падать духом – нам стоит лишь ублажить разгневанных богов и прийти на помощь оказавшемуся в опасности отечеству с бравой армией, которой будут руководить опытные и закаленные в воинском ремесле мужи.

Так говорил фламин Лукреций Кассий, не только ревностный почитатель богов-советников, но также и сторонник правды, муж, наделенный здравым рассудком. Видно было, что

⁷ Тит Ливий. XXII. 1.

он не разделял предрассудков, столь глубоко укоренившихся в большей части римского общества, в особенности же среди простого народа. Слова его напомнили о консуле Клавдии Пульхре, который некогда приказал бросить в море священных кур, а также о несчастном Гае Фламинии, недавно погибшем в тразименских болотах. Лукреций Кассий, хотя он должен был бы скорее придерживаться фактов, чем обращаться к разуму, был, казалось, плохо информирован именно о том презрении, с каким эти полководцы относились к пророчествам.

Легко себе представить, какой переполох вызвали слова Лукреция среди собравшихся жрецов: не было ни одного, кто бы не встал и не возмутился смельчаком, посмевающим усомниться в силе предсказателей и в пророческой правдивости авгуров.

Шумную перепалку жрецов прервало появление ликторов, предшествующее приходу верховного понтифика Луция Корнелия Лентула, высокого, крепкого и полного сил, несмотря на его шестьдесят лет, человека с исключительно строгим, даже жестоким лицом, орлиным носом, черными глазами и седыми коротко подстриженными волосами. Когда-то этот самый главный жрец был консулом; ныне же он занимал желанный многими и очень высокий пост верховного понтифика.

С прибытием высшего жреца разговоры утихли, и собравшиеся безмолвно и почтительно расступились в стороны, давая проход верховному священнослужителю, который, поприветствовав собравшихся кивком головы, прошел атрий и коридор, по которому попал в перистиль, а потом исчез за открывшейся перед ним дверью собственного жилища.

По его приказу вызвали секретарей жрецов, потом авгуров, фламинов, гаруспиков, а потом постепенно и всех прочих жрецов для общего совета, на котором следовало обсудить, сколько жертв приличествует предложить богам в дни всенародного бедствия.

Обсуждение длилось часа два, и только около *сесты* (три часа пополудни) верховный понтифик остался один в библиотеке; дав последние распоряжения относительно будущей церемонии, он встал с курульного кресла и вышел на улицу с двумя секретарями, Луцием Кантилием и Эреннием Цепионом с предшествующими как обычно ликторами, направляясь к Форуму.

– Ты печален и задумчив, – сказал Луций Корнелий, обращая ласковый взгляд на шедшего возле него с опущенной на грудь головой и хмурым лицом Луция Кантилия, – в твоём возрасте нельзя печалиться.

– Я?.. – ответил молодой человек, поднимая голову. – Да... в самом деле... задумчив...

– И о чём же ты думаешь? – спросил понтифик.

– О бедствиях родины...

– И только об этом?..

Внезапно лицо молодого человека покрылось ярким румянцем. Луций вздохнул и добавил, снова склоняя голову:

– Да, и о собственных своих бедах...

Корнелий Лентул приостановился и, внимательно глядя молодому человеку в лицо, сказал:

– Твои беды?.. О каких же это бедах ты говоришь? Расскажи мне о своих несчастьях, может, я и найду лекарство на твою печаль...

Шумная толпа, возвращавшаяся с Форума и заполнившая Священную дорогу, выручила Луция Кантилия из трудного положения, в какое его поставил вопрос понтифика.

Толпа состояла преимущественно из плебеев, присоединившихся к какой-то печальной процессии. Четверо ликторов и палач, за которым шли уголовные триумвиры, вели, очевидно, на казнь, за Эсквилинские ворота горожанина, бледного, в разодранной одежде, который со связанными руками двигался в самой середине этого печального шествия.

При виде понтифика и его свиты сопровождавшие процессию ликторы растолкали в стороны триумвиров, палача и приговоренного, шпалерами выстроив народ вдоль пути жреца.

– Кто такой? – спросил Корнелий Лентул. – Что за преступление он совершил, раз уж его приговорили к смерти?

– Зовут его Сильвий Петилий, – ответил один из горожан, и тут же наперебой заговорили почти одновременно другие:

– Он из Велинской трибы...

– Он жал хлеба на поле соседа...

– Тайком...

– Ночью...

– За это преступление его и приговорили к повешению...

– Этот бедный селянин обременен большой семьей, – говорили другие.

– Нужда заставила его воровать...

Люди эти, казалось, просили милости у понтифика, его заступничества за осужденного, но Корнелий Лентул только сурово сдвинул брови и отчетливо сказал:

– Жаль мне его, я опечален его участью, но в Законах Двенадцати таблиц написано ясно: «Всякий, кто ночной порой сожнет колосья на поле соседа, должен быть повешен». Вот его судьба. Только закон и справедливость должны править в Риме.

И, сказав это, он пошел дальше, оставив позади триумвиров и ликторов, которые в знак уважения к главному жрецу склонили свои топоры, обвитые пучками розг.

– О верховный понтифик, – воскликнул осужденный дрожащим и полным боли голосом, – если боги-советники милостивы к тебе, милостивы и милосердны к нашей славной отчизне, сжался над моими бедными детьми и не забывай о сиротах после моей смерти!

Он еще не кончил говорить, как в толпе, вливавшейся в эти минуты на Новую улицу, произошло какое-то движение, и один из граждан крикнул: «Весталки!»

Гул прокатился по толпе, лицо осужденного вдруг ожило, зарумянилось, и в нем возродилась надежда, когда сотни голосов поддержали:

– Весталки! Весталки!

Пришел в волнение людской водоворот; те, кто только входил на Новую улицу, и те, кто уже находился на Священной дороге, сталкивались, как и те, кто спешил к Форуму и Греко-стасу, а тем временем из уст осужденного вырвался громкий крик:

– Милости! Милости! По обычаю!

И многие голоса повторили за ним:

– Помиловать!.. Помиловать!..

На улице в самом деле показались две весталки, которые в сопровождении многочисленных матрон, патрицианок и двух ликторов направлялись в старинный храм богини Надежды, расположенный за стенами города, недалеко от Эсквилинских ворот, в том самом месте, где в 278 году римской эры Гай Гораций собственным мужеством сдержал атаку этрусков, в очередной раз напавших на Рим. Весталки эти должны были принять участие в церемонии, с помощью которой власти надеялись умиловить богиню, дабы она отвратила столь страшную угрозу, нависшую над родиной.

На весталках были длинные белые туники, доходившие почти до земли; поверх них были накинuty широкие, обрамленные пурпуром плащи, прикрывавшие им головы и застегнутые у горла; волосы весталок стягивал суффibuл из белой шерсти, перевязанный узкой ленточкой, концы которого падали на плечи и грудь.

Обе девушки отличались яркой красотой, ибо условием принятия в священную коллегию весталок были физические достоинства кандидаток.

Одной из жриц Весты, оказавшихся в столь подходящий момент на Священной дороге, чтобы спасти жизнь Сильвию Петилию, была прелестная девушка лет двадцати трех, изящно сложенная, стройная и гибкая. Под широкой повязкой, опоясавшей лоб Флоронии, ибо таково было имя весталки, виднелись белокурые локоны; белой и розовой была кожа ее лица, между

четких и правильных линий которого выделялись большие и очень красивые глаза, голубые, спокойные, поблескивающие как-то особенно живо. У светловолосой весталки были маленькие полноватые ручки; ее стройные ножки были обуты в изящные сандалии из красной кожи, вышитые серебром и стянутые на щиколотке кожаными ремешками. Какая-то нежная тучка сладкой печали, казалось, бросала тень на безмятежное личико Флоронии; тучка эта, однако, сразу же пропадала, как только на нем появлялась какая-то почти детская и по-настоящему сладкая улыбка.

Другая весталка, высокая и тоже красивая лицом, казалось, недавно переступила порог восемнадцатилетия. Густо-черные, блестящие выющиеся кольцами волосы выбивались из-под суффibuла и падали на шею красивой девушки. Густые черные брови рисовались на высоком лбу Опимии (таково было имя девушки); из-под чудесно изогнутых в дугу бровей сверкали два смысленных, подвижных, светившихся каким-то фосфорическим блеском глаза; в их зрачках читались откровенное желание нравиться и жажда жизни. У Опимии были красивые маленькие пурпурные губы, может быть, немножко пухлые; кожа приобрела цвет золотистого загара; когда же она смеялась, то открывала два ряда мелких, острых, изумительно белых зубов.

Поразительно стройная шея больше разрешенной обычаями весталок нормы выступала над пряжкой, которой был стянут плащ. Под складками белейшего плаща, одетого Опимией, рисовались сладострастные формы пышной груди, которые еще больше усиливали красоты, достоинства и грациозность ее лица. Руки у Опимии были маленькие, угловатые, с молочно-белым цветом кожи, ноги – короткие, но элегантные.

Красивое лицо Опимии было полно жизни; по нему легко было угадать всю силу ее энергичного, страстного любвеобильного существа.

При появлении весталок ликторы, сопровождавшие верховного понтифика, опустили свои фасции в знак почтения, а прохожие, без различия возраста и сословия, расступились, очищая для них проход. В этой толпе, всего какую-то минуту назад бывшей такой шумной, воцарилась глубокая тишина, и, когда Сильвий Петилий упал посреди улицы на колени, просительно вытягивая к весталкам руки и крича: «Милосердия! По обычаю!», один из уголовных триумвиров обратился к жрицам полным почтения голосом:

– Пусть пречистые девы скажут, случайной ли была их встреча с приговоренным к смерти Сильвием Петилием?

И свежие, звучные серебристые голоса весталок одновременно ответили:

– Случайной!

Конвульсивный смех, выразивший несказанную радость, вырвался из груди осужденного, его бледное, залитое слезами лицо прояснилось.

– Известно ли было вам, пречистые девы, что, выходя в этот час из храма Весты на Священной дороге, вы можете встретить преступника, которого ведут к месту казни?

Обе весталки в один голос уверенно ответили:

– Нет!

– Отвести осужденного в Мамертинскую тюрьму, – распорядился триумвир. – Обычай предписывает, чтобы ему подарили жизнь. Претор назначит ему другое наказание.

Толпа встретила это решение удовлетворенным гулом, который быстро сменился радостными криками и шумными рукоплесканиями. Сильвий Петилий, поднимаясь с земли, по которой он только что в отчаянии ползал, воскликнул возбужденно:

– Развяжите мне веревки, я хочу поцеловать край одежды моих спасительниц! Будьте благословенны, святые девы... Не за себя благодарю вас... Десять лет я сражался в легионах во славу Республики и ради ее защиты; смерти я не боюсь. Благодарю вас от имени моих детей, к которым вместе с жизнью отца возвращается их собственная жизнь...

Несколько рядом стоящих граждан развязали веревки, спутывавшие руки осужденного, и Сильвий Петилий, бросившись к ногам двух весталок и целуя им ладони, призывая на них благословение небес, умолял:

– Имена... Скажите мне имена священных жриц. Я хочу выучить их и с признательностью благословлять святых дев до конца своей жизни.

– Флорония и Опимия... Наставница и ученица священной коллегии, – раздались в ответ ему голоса многочисленных девушек и серьезных матрон, сопровождавших весталок.

– Пусть великие боги будут опекать вас здесь, на земле, и пусть примут вас в свой елисейский приют в число избранных, когда настанет последний ваш час! – воскликнул Петилий, почти теряя рассудок от избытка чувств. И, поднимаясь на ноги, готовясь вернуться вместе с триумвирами и ликторами в Мамертинскую тюрьму, добавил: – Будьте здоровы и счастливы, пречистая Опимия и пречистая Флорония!

Одновременно с прощальным словом удаляющегося Петилия побледневшее было личико Флоронии снова зарумянилось, потому что красавица встретила взглядом с Луцием Кантилием, который стоял чуть поодаль, возле верховного понтифика, и смотрел на нее с любовью и обожанием. Под жгучим взглядом молодого человека прекрасная жрица опустила взгляд и, дрожа всем телом, шепнула товарке:

– Пошли дальше... своей дорогой...

– Что ты сказала? – ответила Опимия, словно пробуждаясь ото сна, тогда как глаза ее не могли оторваться от группы, в которой стояли Луций Кантилий, верховный понтифик и его свита, однако тут же добавила: – Поспешим к старому храму Надежды...

И обе весталки, дав знак шедшим перед ними ликторам, продолжили свой путь к храму в сопровождении множества женщин.

Проходя перед верховным понтификом, обе весталки слегка склонились перед своим высшим начальником. Корнелий Лентул, в свою очередь, благожелательно поприветствовал девушек, поднеся правую руку ко рту.

Когда Луций Кантилий, обменявшись с Флоронией долгим страстным взглядом, отправился, печальный и задумчивый, вместе с понтификом на Форум, он заметил на углу улицы слонявшегося за плечами плебеев ненавистного Агастабала, толстые, распухшие губы которого складывались в злобную ироничную улыбку. Благородный римлянин задрожал от гнева, в груди у него закипело, щеки от страшной ненависти налились густым румянцем. Он побежал в ту сторону, где увидел стоящего карфагенянина, но тот, словно почувствовав на себе взгляд жаждавшего крови Луция, поспешно повернул на Новую улицу, как бы подгоняемый невидимой силой. Римлянин, инстинктивно сжимая в ладони меч, погнался за ним, но карфагенянин не дал себя догнать и повернул на улицу Спасения. Луций чуть не догнал его, но столкнулся с Гаем Волузией, мимо которого именно в этот момент проскользнул африканец. Удивленный появлением Агастабала, Гай Волузий остановился как вкопанный и только следил взглядом за удалявшимся врагом; но увидев, что это не призрак, а человек, которого он давно искал, мигом повернулся и побежал за удаляющимся.

– Здравствуй, Гай Волузий! Куда это ты торопишься?

– Это он... он... Быстрее за ним, – ответил опционат, глаза которого горели огнем мщения.

– Кто это? – притворяясь удивленным, спросил Луций Кантилий, удерживая Волузия за руку.

– Таинственный африканец, тот самый, который хотел несколько дней назад убить мою мать... Скорее за ним... Видишь? Вон он...

При этих словах он хотел вырваться из рук приятеля.

– Успокойся, Волузий, я тоже минуту назад думал, что это злодей, которого мы встретили в твоём доме...

– Как это? Значит, это не он?..

– Нет, Волузий, я давно знаю этого человека. Это вольноотпущенник, нумидиец по имени Боракс, по профессии он плотник и работает на Тибре, строит корабли...

– Тем не менее я бы присягнул душой моей матери, что это тот, кто хотел задушить ее!

– Уверю тебя, друг, это не он, – сказал Луций Кантилий, желавший как можно скорее закончить неприятный для него разговор, потому что ему неприятна была ложь, на которую вынуждали тайные связи, помимо его воли установившиеся у него с карфагенянином.

– Твоего слова для меня достаточно, – ответил с явным недовольством, покачивая головой, Волузий, – чтобы не поверить собственным глазам.

А Луций продолжал:

– Я хорошо помню того негодяя, который покушался на жизнь твоей матери. Я узнал бы его с первого взгляда. Впрочем, эти два человека очень похожи друг на друга. Особенно цветом кожи. В конце концов они оба – африканцы... Но тот повыше ростом и потемней лицом.

– Ты в этом уверен? – спросил не оставлявший своих сомнений Волузий.

– Конечно. Я на него наткнулся, пока ты поднимал на руки мать. Я лучше его разглядел. Я еще видел, как он выпрыгнул в окно.

– Да, ты прав... Ты лучше меня мог его запомнить, – согласился Гай Волузий и пошел вместе с Луцием Кантилием по Новой улице, но, пройдя немного рядом с другом, добавил: – Тем не менее мы должны сделать все, чтобы напасть на след этого негодяя.

– Я ничего другого и не жажду, – ответил Луций.

– И я... Я даже обо всем рассказал верховному понтифику.

– Ты поступил разумно. Я, впрочем, сделал то же.

– Какую же тайну хотел купить этот негодяй у моей матери? – рассуждал Волузий. – Разное я передумал, стараясь распутать эту загадку, но все напрасно: сегодня я знаю столько же, сколько тогда...

– Я тоже теряюсь в догадках, – вздохнув, ответил Луций, – и мне кажется, что я далек от истины.

Ведя такой разговор, молодые люди прибыли на Форум, где собравшиеся большой толпой горожане обсуждали между собой встречу двух весталок с процессией, сопровождавшей на виселицу Сильвия Петилия, и о милости, оказанной приговоренному в соответствии с обычаем, переданным квиритам отцами. Но вскоре разговоры перешли на другую тему: вернулись к самому важному вопросу, так горячо волновавшему всех римлян, – к Ганнибалу.

И если все в Риме его боялись, то было отчего: еще не были залечены раны, нанесенные разгромом у Тразименского озера, как несколько дней спустя пришла весть о новом проигранном сражении.

Гай Центений, военный трибун, служивший под началом другого консула, Гнея Сервилия Гемина, стоявшего лагерем возле Аримина, был выслан с шеститысячным конным отрядом на помощь коллеге, о судьбе которого кружились непроверенные и смутные вести. Но Ганнибал наголову разбил нерасторопного Центения, положив трупами и взяв в плен четыре тысячи человек, цвет римской Конницы.

При известии о новой неудаче страх у людей опять возрос. Только сенат, который после получения сообщения о тразименском разгроме заседал непрерывно, не утратил силы духа, обдумывая новые средства для защиты Рима в случае возможного нападения Ганнибала.

Из города отправили гонцов к консулу Сервилию Ге-Мину с приказом немедленно отойти со своими легионами под стены Рима, избегая новых столкновений с карфагенянами. К соседним народам Латия – вольскам, эквам, сабинам – послали консуляров с требованием помощи людьми и оружием. Городские ворота были закрыты и забаррикадированы, все граждане, способные носить оружие, были призваны на защиту родины, на стены выставили катапульты и баллисты на случай, если бы неприятель решился подойти к городу.

Когда Луций Кантилий и Гай Волузий добрались до Гостилиевой курии, Форум, площадь Комиций, Грекостас и все соседние портики и улочки, несмотря на приближающуюся ночь, были запружены толпами горожан различных сословий.

Всюду говорили о необходимости назначить диктатора, которому доверили бы руль правления и спасение Республики.

Сенат на время прервал свои заседания; выходявших из курии отцов отечества многие горожане, особенно старики – а таких в толпах на Форуме и площади Комиций было большинство – расспрашивали о результатах дискуссий, требовали известий из лагеря, пытались найти в ответах слова утешения и надежды, которой им уже так не хватало в собственных сердцах.

Всеобщее внимание особенно привлекал один сенатор; отовсюду народ теснился к нему, чтобы услышать слова, которым все придавали большое значение. Это был мужчина среднего роста, импозантной фигуры, широкоплечий, мускулистый и сильный. Широкий лоб его отчасти закрывала пара густых темных бровей, под которыми блестели умные и черные как смоль глаза, часто прикрытые, словно подернутые туманом мгновенной печали; коротко подстриженные волосы, слегка припорошенные сединой, прикрывали уже порядком облысевшую голову; правильной формы нос, худые, старательно выбритые щеки, выдающийся вперед подбородок дополняли портрет мужественного и энергичного сенатора, которому лишь недавно исполнилось сорок восемь, и он был в расцвете сил. Человеком этим был Марк Клавдий Марцелл, прозванный первым мечом и самым смелым солдатом в Риме.

Еще в юном возрасте он сражался на Первой пунической войне, проявляя чудеса доблести; в одном из сражений он спас окруженного врагами и падающего уже под их ударами своего брата Отоцилия Клавдия.

Проходя по очереди все воинские ранги он был квестором, курульным эдилом и авгуром. В 533 году он, будучи консулом и сотоварищем Гнея Корнелия Сципиона Кальвина, перешел Пад и храбро сражался с галлами – инсубрами и гессатами, – разбив их соединенные войска под Кластидием и лично убив в сражении их царя Видомара, оружием которого он украсил свой великолепный триумф, посвятив Юпитеру Феретру богатую добычу. Он был третьим и последним из римлян, кому выпало такое счастье. Первым был Ромул, пожертвовавший добычу, взятую у Акрона, царя генинесов; потом консул Корнелий Косе сделал то же после разгрома Толуния, царя этрусков, и наконец – Марцелл, больше уже никто и никогда такого не делал.

Таков был сенатор, которого приветствовали горожане, в том числе Кантилий и Волузий. Давка была большой, как велики и надежды на великого человека, что объяснялось его великим прошлым. Сколь обоснованны были такие ожидания и надежды, мы можем судить по деяниям, совершенным им позднее, во времена его преторства и четырех консулатов, в войнах против сиракузян и Ганнибала, когда он получил почетное прозвище *меча Республики*, тогда как Фабий Максим за такие же деяния был назван *щитом Республики*.

- Здравствуй, храбрейший Марк Клавдий!
- Здравствуй, сильнейший!
- Здравствуй, победитель галлов!
- Здравствуй, здравствуй! – хором кричали сотни голосов.

И вскоре великий полководец был окружен со всех сторон и отделен от номенклатора, от антеамбулона и двух рабов, следовавших за ним; и тогда сотни вопросов посыпались на него одновременно.

Те из горожан, кто оказался рядом с Марком Клавдием, хватали его за край тоги и спрашивали:

- Что намерен делать сенат?
- Чем нас обнадежишь?..
- Чего нам ожидать?..
- Что делает Ганнибал?..

- Есть вести от консула Сервилия Гемина?
- Где сейчас этот мошенник-карфагенянин?
- Где мы будем обороняться?..
- Кто спасет Рим?

– Рим спасет себя сам! – зазвучал голос Марцелла. – Римляне сохраняют его святые стены, если только вы, сыновья Квирина, видевшие с гордостью и благородством ума, как наш город всегда выходит с честью из самых трудных ситуаций и бед, если, говорю, вы, ныне сомневающиеся и плачущие подобно женщинам, одряхлевшие, упавшие духом под бременем временных неудач, не ввергните себя в отчаяние, недостойное потомков Ромула!

При этих сказанных укоризненным тоном словами вокруг сенатора наступила тишина, после чего триумфатор над галлами продолжал:

– Да поможет мне всемогущий Юпитер Феретр! Или вы перестали быть римлянами?.. Разве так поступали отцы, когда нашу родину затопили орды галлов? Разве стонами и слезами победили мы Пирра? О, ради всех божеств неба и ада! Долой признаки подлой трусости! Кто чувствует в своих венах кровь свободного человека, будь он стариком, будь юношей, еще не снявшим претексты, пусть возвращается к себе домой и, сняв со стены старинный меч, дорогое наследство предков, пусть почистит его и приготовит для защиты отчизны! Пора покончить с сетованиями! Душевная твердость и выносливость пусть снова поселятся в ваши захиревшие души. Уверяю вас, что с подобными союзниками к нам снова вернутся победы.

Гулом одобрения встретила толпа короткую, но выразительную и захватывающую речь Марка Клавдия, все сердца оживились, и вера в силу Рима вселилась в умы.

Тогда заговорил Марк Порций Приск Катон, молодой человек в претексте, выкликнувший диктатором Фабия Максима, ибо Катон, с отроческих лет закаленный железом, воспитан был так, что подсказанное собственным умом и совестью готов был защищать с утра до вечера с непоколебимой стойкостью и упорством.

– Ты хорошо сказал, о юноша, и говорил ты о настоящем человеке, – отозвался Марцелл.

– И этот человек призывает меня и граждан, которые стали полноправными только сегодня, – добавил с варварским акцентом, но без дерзости Марк Порций.

– То, к чему ты призываешь, освободит сенат: завтра претор созовет народ на центуриатные комиции для выбора диктатора.

– А кто захочет взять на себя тяжелые обязательства перед таким несправедливым и неблагодарным народом, как наш? Кто захочет отдать ему сегодня разум, отвагу, жизнь, если знает, что назавтра, после того как он спасет этих людей от крайней опасности, навалившейся на них сегодня, этот неблагодарнейший народ может отнять у него просто так, вдруг, как в награду, честь и славу?

Эти слова были сказаны жалобным голосом, в котором, однако, чувствовались степенность и суровость.

– Марк Ливий?! – воскликнули некоторые, в изумлении поворачиваясь к сказавшему эти слова мужчине.

– Он?! – добавляли другие. – Марк Ливий?!

И после продолжительного ропота наступило короткое мгновение глубокой тишины, во время которого глаза всех присутствующих пытались разглядеть только что говорившего человека.

Это был мужчина лет сорока пяти, среднего роста, довольно широкоплечий, худой, сложенный, казалось, только из мускулов да сухожилий, с истинно римским лицом, серыми глазами, орлиным носом, выступающими скулами и подбородком. На этом лице, суровом и благородном, читались гордость и честность безупречной души, просвечивала глубокая боль, иссушившая тощие уже щеки гражданина, которого в толпе называли Марком Ливием. Еще более печальное выражение его лицу придавала неряшливая и грязная борода. На нем были

темного цвета туника и серая, разодранная тога, которые открывали любому, что носивший их был *сордидато*, то есть впавший во всеобщую немилость и за что-то осужденный гражданин.

И этот Марк Ливий, прозванный впоследствии *Салинатором*, не находился в этот момент под обвинением; он был уже приговорен год назад к уплате штрафа.

Еще юношей он воевал с карфагенянами в Сицилии, где отличился стойкостью и храбростью, за что получал награды, венки и звания вплоть до квестора при фабии Максиме во время войны с лигурами; позже он был эдилом и претором, а 535 году, то есть за два года до начала нашей истории, Марк Ливий Салинатор был избран консулом от сословия плебеев вместе с выдвинутым патрициями Луцием Павлом Эмилием. Консулы вместе отправились на войну с иллирийцами, разбили их и подчинили власти Рима, за что и получили совместный триумф.

Однако в следующем году, когда консулами были Публий Корнелий Сципион Старший и Тиберий Семпроний Лонг, некоторые молодые горожане обвинили в трибутных комициях как Павла Эмилия, так и Марка Ливия в несправедливом разделе между солдатами добычи, взятой в Иллирийской войне, и в присвоении части ее. При обсуждении этого обвинения Павел Эмилий был чудесным образом оправдан: в его пользу высказались восемнадцать триб, против – семнадцать. Марк Ливий, то ли потому, что не нравился ни народу, ни патрициям из-за суровости своего нрава, то ли потому, что доказательства его виновности были очевиднее и серьезнее, чем по отношению к его коллеге, был приговорен к выплате штрафа. Против него проголосовали тридцать четыре трибы, в его пользу высказалась только одна – Мециева⁸.

Охваченный болью и гневом, наделенный благородной душой и умеренными добродетелями, невиновный в проступке, в котором его упрекали, он оделся в грязную темную тунику и такого же цвета тогу, отпустил длинную бороду и удалился в свое сельское имение, далеко от Рима, и долго его не покидал; только много лет спустя, по приказу цензора, снял траурные одежды и занял прежнее место в сенате, хотя и неохотно, с большим недовольством.

Но в эти дни после получения известия о поражении у Тразименского озера, тронутый бедами родины, – ибо родина для него, как и для каждого римлянина, не переставала быть объектом высшей любви, хотя она и оказалась к нему неблагодарной и несправедливой, – он приехал в город, чтобы записаться простым солдатом в одну из центурий, наспех набранных и предназначенных для защиты Рима.

Он находился на форуме и, когда услышал крики, требовавшие избрания диктатора, позволил терзающей его боли вылиться в слова, которые, как мы видели, обратили на него внимание всего народа.

Марк Ливий, подняв голову, твердым и неустрашимым взглядом окинул толпу, смотревшую на него с любопытством.

– Вам нужен диктатор, – сказал он после паузы, во время которой никто не осмелился заговорить. – Выберите же светловолосого патриция Гая Клавдия Нерона. Он жаждет славы и, чтобы получить ее, не испугается покуситься на доброе имя тех, кто посвятил всю свою жизнь благу отчизны. Он ловкий оратор и обвинитель, его клеветнические слова выглядят чистой правдой; он такой смелый на словах; пусть же он спасет вас, пусть остановит триумфальный

⁸ Тит Ливий (XX. 43) показывает Марка Ливия Салинатора человеком выдающимся, о чем свидетельствуют и позднейшие факты. В 547 году от основания Рима, то есть через 10 лет после событий, описанных в этой повести, Марк Ливий вопреки своей воле был избран консулом вместе с Гаем Клавдием Нероном. Порывистый и бессильный забыть давнее оскорбление, он бегал по Риму, выкрикивая, что не примет дарованную ему должность, однако в конце концов поддался воле народа. Одержав победу над Газдрубалом у реки Метавр, в Умбрии, в чем ему очень помог его коллега Клавдий Нерон, известный в истории войн своим маршем с шеститысячным войском вдоль побережья Адриатики, когда он прошел за семь дней более 280 итальянских миль, Ливий получил триумф вместе с Нероном. Два года спустя, выбранный вместе с Нероном цензором, он потребовал уплаты денежного штрафа от 34 триб, некогда одобрявших осуждающее его решение, кроме Мециевой трибы, и это потому, что приговорили его безвинно, а потом, хотя униженного в их мнении, выбрали его своим консулом и цензором и не могли никогда опровергнуть, что однажды они допустили ошибку, несправедливо приговорив его, или ошиблись дважды, выбирая его в комициях на высокие посты (Тит Ливий. XXVII. 35; XXIX. 37).

поход Ганнибала; пусть он победит, Гай Клавдий Нерон! Вперед же, добродетельные, справедливые римляне! Вот он диктатор, какой вам нужен!!!

Слова эти, сказанные громким голосом, напоенные желчью и глубокой презрительной иронией, вызвали необыкновенное замешательство у людей.

Гай Клавдий Нерон, молодой патриций, на которого так открыто нападал Ливий Салинатор, находился в то время рядом с Марцеллом. Это был высокий, стройный, изящный молодой человек лет тридцати, светловолосый и с короткой русой бородой. Нежные правильные черты его лица, большие голубые глаза, вечно готовый к насмешливой улыбке рот делали его довольно-таки выдающейся личностью. Весь его облик выказывал благородную гордость, сильный характер и огромное честолюбие.

Гай Клавдий Нерон уже воевал под командованием Фабия Максима с лигурами, при Марке Клавдии Марцелле – с галлами, инсубрами и гессатами, под началом Марка Ливия и Павла Эмилия – с иллирийцами, в награду за отвагу и мужество он был назначен трибуном легиона и увенчан двумя гражданскими венками. Однако, вернувшись в Рим, обвинил перед народом обоих своих последних командиров, видимо, для того только, чтобы снискать себе его расположение в будущем⁹. В это время между молодежью начинал входить в моду обычай пробовать свои ораторские силы; молодежь тогда брала на себя роль публичных обвинителей.

Клавдий Нерон побледнел при саркастических словах Марка Ливия, гневом запылало его страстное лицо, резко сбросил он с левого плеча плащ, который с изысканной элегантностью накинул на свою стройную фигуру, и, вытянув противнику свою правую руку, воскликнул, дрожа от злости:

– На что жалуется, на что намекает этот вероломный человек, осужденный по приговору всемогущего народа? Чего хочет этот плебейский сенатор? И я могу владеть своими руками не хуже, чем словом. Всем известны мои подвиги на поле славы. Это им я обязан своими почестями, званиями и венком!

– Я говорю, – воскликнул Салинатор, – что перед нашими глазами совершается болезненное зрелище, и когда-нибудь оно окажет фатальное воздействие на Рим. Я говорю, что неблагородность – тягчайший грех, каким может запятнать себя народ. Я говорю, что клевета ударяет и кусает самых достойных мужей, открывая дорогу неумелым и честолюбивым. Я, Марк Ливий, говорю, что презираю этот непостоянный, бездумно несправедливый народ, и делаю только одно исключение – для граждан, записанных в Мециеву трибу.

Сказав это, он бросил в толпу взгляд наивысшего презрения и удалился величественной походкой среди всеобщего недоумения.

– Безумный человек! – сказал Клавдий Нерон. – Пусть его схватит злой демон и побыстрей унесет на берега Стикса!

– Ошибаешься, юноша, Марк Ливий – благородный человек, и только ваша патрицианская зависть несправедливо обвинила его. Подозреваемого в том же самом преступлении Павла Эмилия вы ведь освободили, и только потому, что он – один из вас.

Таковыми словами отозвался мужчина лет тридцати восьми, довольно высокий, с худощавым лицом, крепкий и здоровый на вид; в действиях и словах его чувствовались буйный нрав, вспыльчивость и раздражительный характер.

Его немного крупную голову покрывали густые, рыжие, от природы выющиеся волосы, спутанные и взъерошенные; низкий лоб, маленькие темно-синие глаза, неправильной формы толстый нос, сильно расширяющийся у ноздрей, выступающий подбородок, заросший короткой бородой, рыжей и курчавой, как и волосы, и переходившей на щеки, белая кожа лица, усеянная маленькими темными пятнышками – все это вместе делало его внешний вид чересчур

⁹ Хотя Тит Ливий открыто и не пишет о роли обвинителя, какую играл против М. Ливия Салинатора Клавдий Нерон (XXVII. 35 и XXIX. 37), но об этом недвусмысленно напоминает Валерий Максим (Книга IV, глава II, § 2).

обыкновенным и лишенным достоинства. Однако, когда бы пришлось к нему внимательно приглядеться, когда улыбка и смех оживляли его лицо, оно становилось даже симпатичным и привлекательным; на нем можно было даже углядеть выражение глубоко затаенных мыслей. Мужчину этого, которому отведена большая роль в нашем повествовании, звали Гаем Теренцием Варроном.

На нем была тога всадника; вся его одежда выдавала хороший вкус и некоторую изысканность.

Гай Теренций Варрон был сыном богатого мясника (лания). Говорили, что в раннем отрочестве и сам он занимался под боком у отца этим малопочтенным ремеслом. А так как денег ему всегда хватало и был он человеком с амбициями, да еще и красиво говорил, то стал на Форуме поддерживать обвинения против врагов народа, а потом занялся бесплатной адвокатурой по делам плебеев, причем никогда не щадил собственного кармана, многих облагодетельствовал и раздавал богатые подарки.

Не было чуждо Варрону и воинское ремесло; будучи молодым человеком, он в 518 году сражался под командованием консула Луция Корнелия Лентула Кавдина против бойев и лигуров, потом, в 521 году, вместе с консулом Спурием Карвилием Максимом воевал на Корсике, принял участие в походе Квинта Фабия Максима на лигуров и наконец под предводительством Марка Клавдия Марцелла ходил на инсубров и гессатов. Не совершив на полях сражений никаких значительных поступков, он тем не менее дослужился до легионного трибуна, потом, по милости народа, он стал плебейским эдилом, потом трибуном, получил должность квестора и наконец, за год до тразименской катастрофы, был избран претором. Теперь он прилагал все усилия, использовал все средства, чтобы стать консулом.

– Хо, хо! – саркастически крикнул Нерон, услышав заступничество Варрона за Марка Ливия, – Слушайте, слушайте, говорит народный трибун!

– Да, народный трибун, и я горжусь званием, которым ты меня наградил, клянусь Геркулесом! Я считаю честью для себя и одновременно своей обязанностью защищать дела того самого народа, который вы, надменные патриции, пытаетесь подавить и попать.

– Это только пустая болтовня, – сказал, сострадательно улыбаясь, патриций.

– Прекратите свои бессмысленные раздоры, – воскликнул Клавдий Марцелл, – разве в это время пристало упрекать друг друга и вытаскивать со дна души личные обиды?!

– Да, да! Ради Марса Мстителя, давайте прекратим распри, – отозвался вновь прибывший мужчина, едва отметивший сорокалетие и отличавшийся бледным и приятным лицом, изысканным обхождением и мягким взглядом, в котором, правда, просвечивала изрядная доля энергии. – Сейчас не время вспоминать старые обиды. Марк Ливий – доблестный человек; он не виновен в преступлениях, которые ты, Гай Клавдий Нерон, ему приписываешь. Никто не знает его лучше меня; мы были вместе на Иллирийской войне и вместе получили триумф. Я страдал от несправедливости, которую учинили ему люди по незнанию, я страдал, так как не в силах был защитить его от незаслуженного наказания...

– Ты честен и великодушен, Луций Павел Эмилий. Жаль только, что твоих благородных слов не слышит ворчливый и вспыльчивый Марк Ливий, – сказал Теренций Варрон, подавая руку защитнику Салинатора.

– Давайте сегодня забудем о разногласиях и станем думать о спасении Рима от грозящей ему опасности, – добавил Павел Эмилий, пожимая руку Варрона. – Нам нужен диктатор. Один из наших консулов закончил свою славную жизнь на поле битвы, второй находится далеко от Рима, а тем временем враг, раззадоренный столькими победами, все больше угрожает нашему городу.

– Да, да, хотим диктатора! – разом закричали тысячи голосов.

– Нет другого человека, который бы со зрелым умом и большим благоразумием соединял в себе столько бравой отваги и твердости характера, как...

Тысячи голосов не позволили Марцеллу закончить фразу. Со всех сторон неслось:

– Это Фабий Максим! Да здравствует Фабий Максим!

– Вы угадали! Фабий Максим – тот человек, который нам нынче нужен! – продолжил Марцелл. – Вы это поняли, вы об этом догадались.

– Да здравствует диктатор Фабий Максим! – закричал Гай Клавдий Нерон.

– Завтра все центурии будут голосовать за него, – сказал Луций Кантилий.

– Да, да, да! – заорали тысячи голосов.

– Да здравствует диктатор Фабий Максим! – неслось со всех сторон.

Гай Теренций Варрон не сказал ни слова, только покрутил головой и сложил губы в ироничную гримасу, словно хотел сказать: «Хорошенький выбор, черт побери!» – и покинул собрание, не желая противостоять энтузиазму народа.

Когда стало чуть поспокойней, какой-то молодой человек, которому совсем недавно исполнилось восемнадцать лет, выкрикнул зычным, звонким голосом:

– Граждане! Помните, что надо голосовать единодушно, не забывайте, что в единстве – сила.

– Браво, Сципион!..

– Ты прав, о доблестный, возлюбленный богами юноша¹⁰!

– Мы последуем твоему совету, потому что он ценнее, чем пространные слова стольких мужей старше тебя, – повторяли вокруг, теснясь к Публию Корнелию Сципиону, прозванному впоследствии Африканским; в нем уже созревал один из самых храбрых и самых мудрых вождей, один из благороднейших и добродетельнейших граждан, которые когда-либо озарили страницы истории Древнего Рима.

Во время описываемых событий Сципиону шел, как мы уже сказали, девятнадцатый год; он был хорош собой, отменного роста, крепко сложен и силен. *Лицо его было мягким и полным очарования, и вместе с тем мужественным и энергичным; с юношеских лет его оно нравилось людям*¹¹.

Над его шеей, крупной и жилистой, возвышалась красивая голова с великолепной густой черной как эбеновое дерево и блестящей шевелюрой. Лоб у него был высокий и широкий, почти квадратный; у правого виска видны были следы двух свежих ран, перекрещивающиеся в форме буквы Х; нос у него был тонкий, как говорят, орлиный, глаза – черные, рот высокомерный, губы оттопыренные, подбородок несколько заостренный и выступающий, что у давнишних физиогномистов, да, пожалуй, и сейчас, считается признаком огромной энергии и необыкновенно развитых умственных способностей¹².

Это был красивый юноша в полном значении этого слова; такие лица нелегко забываются и с первого взгляда вызывают симпатию и доверие.

Публий Корнелий Сципион с младенческих лет совершенствовался во владении оружием и физических упражнениях. Семнадцати лет, то есть за год до начала нашего рассказа, сражаясь при Тицине оптионом под началом своего отца Публия Корнелия Сципиона Старшего, он бросился в самую гущу битвы в тот момент, когда его старый отец, раненый и сброшенный с коня, защищался вместе с тремя или четырьмя конниками от целой тучи нумидийцев. Рискую быть убитым, однако так проворно и с отточенным мастерством пустив в дело свой меч, молодой Сципион сумел спасти отца. Но сам он едва вышел живым из этой ужасной схватки, неся на теле двадцать семь ран; следы двух из них навсегда остались у виска как свидетельства сыновней любви и неустрашимости.

¹⁰ Уже с молодых лет Публий Корнелий Сципион Африканский считался среди своих сограждан весьма любимым богами, да он и сам считался полубогом. Сципион не противился этой небесной параллели, как об этом свидетельствуют Тит Ливий (XXV. 19), Полибий (X. 3), Валерий Максим (1. 2), Сиций Италик (XII, 613), Плиний (Естественная история. VII. 7).

¹¹ Тит Ливий. XXXVIII. 35.

¹² Тит Ливий. XXI. 46; Полибий. X. 4.

Совершенствуясь в военном ремесле, он не забывал о науках и упражнениях на полях истории, философии и науки красноречия; поэтому у него была заслуженная репутация образованного юноши и хорошего оратора.

После сражения при Тицине, где он заслужил себе звание центуриона, Сципион приехал в Рим, чтобы отдохнуть от лагерных трудов и вылечить раны, многие из которых были легкими, хотя несколько из них считались серьезными и опасными для жизни.

Выздоровев, он принял в качестве центуриона командование над одним из отрядов, предназначенных для обороны города.

– Боги говорят твоими устами, молодой человек, – сказал Марцелл, пожимая Сципиону руку, – дела твои мужественны. Если я не ошибаюсь в своих суждениях о людях, то ты предназначен для великих и блистательных свершений. Своими действиями при Тицине ты доказал, что Республика, которой понравилось назвать меня, теперь уже стареющего, самым храбрым среди держащих мечи и копья, может с этой поры рассчитывать на тебя.

Сципион покраснел, услышав лестную похвалу от такого человека, как Марцелл; довольная улыбка заиграла на его красивых губах, а глаза засверкали пламенем благородного юношеского честолюбия.

– К оружию, граждане! Да помогут нам боги – покровители Рима! К оружию! На стены! – крикнул один из горожан, бледный и запыхавшийся, облаченный в шлем и панцирь, выбежавший на Форум из Мамертинской улицы и прибывший, видимо, со стороны Ратуменных ворот. – По Фламиниевой дороге приближается враг!

– К оружию! – подхватил Сципион, вынимая из ножен меч; одет он был в великолепный тяжелый панцирь с чешуями, заходящими одна на другую словно птичьи перья.

По сигналу тревоги группы горожан, мгновенно рассыпавшись по прилегающим к Форуму улицам, спешили к собственным домам, чтобы взять там оружие и поспешать на стены.

– Да помогут нам бессмертные боги! Нам необходимы только спокойствие и энергия, – сказал в свою очередь Марцелл, поспешно удаляясь в сторону площади Комиций.

Вооруженные горожане, принадлежавшие к разным центуриям и находившиеся в это время на Форуме, которым не выпал в этот день черед идти в караул или нести службу на городских стенах, сгруппировались, вооружившись мечами, вокруг молодого Публия Корнелия, который возглавил их и двинулся по Мамертинской улице, выкрикивая:

– Порядок и спокойствие!

И когда этот отряд вооруженных граждан направлялся к Ратуменским воротам, на опустевшем Форуме слышно было только эхо далеких голосов, повторяющих во всех районах города унылый протяжный крик – сигнал тревоги.

Глава III. Фабий Максим Кунктатор

Непосредственной опасности приступа городских стен Рима, о которой объявили собравшимся на Форуме гражданам, не было. Толпа союзных всадников, собравшаяся в Нарни после тразименского разгрома и прибывшая в город с наступлением той ночи, была ошибочно принята римским манипулом, выдвинутым в дозор на Фламиниеву дорогу, за авангард армии Ганнибала, о которой эти беглецы даже принесли новости, рассказав, как карфагеняне прошли по Омбрике до стен Сполетия, как город закрыл ворота, едва увидев приближающихся врагов, а те стали готовиться к осаде.

Как только прошло первое замешательство, вызванное этим известием, – пробудившим тем не менее исконную латинскую силу духа в сердцах римлян, которые, прихватив оружие, собрались на стенах в количестве свыше сорока тысяч человек, включая пятидесяти- и шестидесятилетних стариков да безусых пятнадцатилетних и шестнадцатилетних юнцов, – на следующий день по декрету претора Марка Помпония, который в таком крайнем случае, по мнению сената и с согласия народа, нарушил законы и традиции, в соответствии с которыми декрет о созыве комиций должен быть вывешен в течение трех *нундин* подряд, то есть двадцати семи дней, на Преторианской доске и в местах, предназначенных для народных собраний; были созваны на Марсовом Поле центуриатные комиции для выборов диктатора, который и должен будет позаботиться о благосостоянии Республики.

Толпами валили граждане в свои центурии; лучше даже сказать, что почти не было отсутствовавших и почти единодушно в продиктаторы был избран Квинт Фабий Максим Веррукоз, а тот назначил своим начальником конницы Марка Минуция Руфа.

Величайшая опасность побудила римлян отступить от права и обычаев, в соответствии с которыми выборы диктатора, уже решенные сенатом и народом, следовало провести первому консулу, а в случае его отсутствия – второму. Однако в таком случае, как теперь, когда один из консулов мертв, а другого нет в городе, тогда как опасность близка, разрешается, с общего согласия, переложить выборы на центуриальные комиции, с тем, однако, условием, что они могут назначить лишь продиктатора, чтобы консул Гней Сервилий Гемин, когда вернется, мог бы избрать, по традиции, законного диктатора.

Но как только Фабий Максим был возведен в диктаторы, он отправился в сенат и заговорил о создавшемся положении – благоразумно, но смело и серьезно высказавшись, что ему представляется необходимым начать прежде всего с возвращения расположения богов, отказа от проводившейся консулом Гаем фламинием политики беспечности и презрения, факторов возмутительных для Рима и его судьбы; *он добился, чтобы предписали децемвирам Сибиллиных книг проконсультироваться в священных фолиантах*, что делалось крайне редко и только в моменты величайшей опасности.

Пока децемвиры ожидали священной церемонии, в Рим прибыл консул Сервилий Гемин, оставивший легионы в Окрикуле, возле Тибра, и утвердил диктатуру избранного народом Фабия Максима.

Как только Фабий стал полномочным диктатором, он приказал консулу, чтобы тот поскорее возвращался к своим легионам и ожидал там приказаний диктатора, категорически запретив вступать в столкновения с врагами, даже если те приблизятся к городу.

Тем временем децемвиры Сибиллиных книг провозгласили, что *обеты Марсу, данные по случаю этой войны, были не исполнены, как положено; нужно все сделать заново и с большим великолепием. Нужно также пообещать Юпитеру Великие игры, а Венере Эрицинской и Уму – храмы. Кроме того, нужно устроить молебствие и лектистерний*,

а также *пообещать «священную весну» на случай, если война пойдет удачно и государство останется таким же, как до войны*¹³.

Предложение об устройстве Великих игр было принято; под руководством верховного понтифика Максима Публия Корнелия Лентула состоялись куриальные комиции, где народ высказался за обет «священной весны», которая не могла иметь законной силы, а следовательно, быть успешной, без утверждения самим народом, но римляне, впрочем, приняли этот обет единодушно.

А так как Сибиллины книги предписывали, – по крайней мере, так утверждали децемвиры, – что надо воздвигнуть два храма: один – Венере Эрицинской, а за это должны были высказаться те, кто осуществлял высшую власть в городе, другой – богине Разума, то Фабий Максим дал обет построить храм Венеры Эрицинской, а претор Марк Отоцилий Кресе пообещал воздвигнуть святиню богини Разума.

Всей этой процедуре религиозного почитания и суеверия Фабий Максим следовал не только импульсам своей души, приверженной верховным богам и почитающей религию отцов, он прибег равным образом к достойной одобрения политической целесообразности, потому что отлично понимал, что следует возвысить души, униженные четырьмя поражениями кряду, объясняя эти неудачи гневом богов, а не доблестью карфагенян.

Показав столь суеверному народу, как у Тразименского озера консул Фламиний был наголову разбит со своим святотатством и презрением к религии, Фабий заронил в сердце каждого убеждение, что, умиловив богов, римские легионы могли бы победить и, без сомнения, победят армию Ганнибала.

А войско это, пока в Риме занимались всевозможными искуплениями да жертвоприношениями, отчаянно сражалось у стен римской колонии Сполетия, которую оно многократно пыталось взять приступом, хорошо понимая, насколько труднее овладеть Римом, если только одна из его колоний способна так сопротивляться. Оттого-то карфагеняне ушли из Омбрики и, грабя да облагая данью страну, обрушились на Пицен с очевидным намерением ворваться потом в Апулию, Давнию, Мессапию, пройдя вдоль Адриатического побережья до самого юга Италии.

Диктатор, занимавшийся не только религиозными вопросами, но прежде всего – военными делами, срочно отправил гонцов во все колонии, союзные города, муниципии и префектуры, приказывая их жителям укрепляться в собственных стенах и мужественно защищаться от карфагенянина, перед приходом которого следовало сжигать запасы зерна, уничтожать любым другим способом продукты всякого рода, чтобы неприятель во всем испытывал нужду; ибо Ганнибал был врагом не одного Рима, а всех италийцев.

Удивительно было в те дни наблюдать, как италийцы перед лицом столь мощного врага, побеждавшего уже в стольких сражениях, оставались верными Риму и держались так стойко, что ни один город не открыл ворота Ганнибалу, и ото всех городов карфагеняне бывали отбиты, и только один чужеземному полководцу удалось после яростной схватки захватить – Венузию.

Такое поведение италийцев делало честь не только им самим, но и римлянам, которые своей политической и административной мудростью – а в этом их никто, ни один народ, не превзошел никогда, ни до описываемых событий, ни после них – умели, оставляя каждому народу его язык, религию, обычаи и законы, создавать могущественное политическое единство, ассимилирующее, но не поглощающее жизненные и производительные силы друзей и союзников; и в этом образовании побежденные и покоренные народы любили их, а не боялись.

Восемь дней прошло со времени назначения диктатора, и вот на рассвете шестнадцатого дня до июньских календ (17 мая) весь Рим стекался на Форум, к Палатинскому холму и Капитолию, где были разложены шесть лектистерниев – в честь Юпитера и Юноны, Нептуна

¹³ Тит Ливий. XXII. 9 (пер. М.Е. Сергеевко).

и Минервы, Марса и Венеры, Аполлона и Дианы, Вулкана и Весты, Меркурия и Цереры. Матроны и женщины из народа, перемешавшись между собой, в покаянных одеждах, с распущенными волосами, тысячами прибывали в священные храмы каждого из двенадцати упомянутых богов-советников и, преклонившись у подножия алтарей, просили громкими голосами, стеная и плача, прощения за жертвы, принесенные богам римлянами, и вымаливали для Рима милости и благоденствия.

Со всех сторон подходил народ, тоже в темных одеяниях, тоже молившийся и проливавший слезы с таким пылким проявлением веры, тем более осознаваемой и искренней, чем сильнее и смешнее были суеверия, ее окружавшие.

Во всех храмах курились алтари, готовили кувалды жрецов и жертвенные ножи, резали быков и ягнят, свиней и голубей, чтобы умиловить богов; первосвященники кутались в свои церемониальные одежды, жгли ладан, совершали омовения, слышались мольбы, гимны, молитвы.

Консуляры, сенаторы, самые знаменитые патриции, такие как Фабий Максим и Марк Марцелл, Марк Ливий и Павел Эмилий, Валерий Флакк и Атилий Регул, Л. Фульвий Флакк и М. Валерий Левин, Т. Семпроний Грахх и П. Сульпиций Гальба Максим, все достойные люди, какие только находились в Риме, прославленные добродетелью или занимавшие ответственные посты, или одержавшие победы в сражениях, одевшись в серые тоги, с взлохмаченными волосами, с выражением боли на лицах тяжелой поступью шли из храма в храм, вымаливая у богов благорасположения к Риму.

Так прошел первый день лектистерниев; а в два последующих город, отдав долг печали, полностью преобразился и украсился к празднику в честь двенадцати богов-советников.

Перед главными храмами выставили шесть величественных триклиниев, покрытых белым льняным полотном и сверкающим пурпуром; на каждый из них поместили по две статуи богов-советников, разукрашенные жемчугом и пурпуром, коронованные розами и лавровыми венками, а перед каждой разряженной божественной парой были приготовлены пышные трапезы под руководством триумвиров-кутил, специально отобранных для этой цели жрецов.

А перед входом в каждый дом, плебейский ли, патрицианский, или перед портиком были расставлены – с той роскошью, какую только мог себе позволить хозяин – большие столы и пиршественные скамьи, на которых сидели вперемешку благородные и плебеи, богатые и бедные, горожане и чужеземцы, друзья и враги.

Ибо одним из последствий публичных праздников в лектистернии было примирение людей, состоявших до того в ссоре.

Итак, в пятнадцатый день перед июньскими календами (18 мая) внешний вид города полностью изменился. По главным улицам прогуливались с праздничным видом радостные женщины, одетые в снежно-белые туники, и мужчины, завернутые в белейшие тоги и увенчанные розовыми венками. Они задерживались перед каждым божьим ложем-триклинием, преклоняли колени перед жрецами, а потом останавливались перед столами, приготовленными друзьями и знакомыми, брали что-нибудь из еды или выпивали вина, провозглашая тост в честь богов и римских успехов.

В этот день даже весталки, собравшись впятером, поскольку одна из них осталась охранять священный огонь в алтаре, вышли из пристроенного к храму атрия Весты, где они проживали, и отправились к шести триклиниям, поставленным в честь богов-советников. Перед ними шли шестеро ликторов, а позади следовала огромная толпа сестер, родственниц и матрон.

Впереди шли две воспитанницы – Опимия и Сервилия, за ними продвигались две наставницы – Лепида и Флорония, а между ними шествовала старшая наставница (*максима*), возглавлявшая коллегию, а ею в те времена была Фабия, дочь Марка Фабия Буцеона, дважды бывшего консулом.

Фабия в свои тридцать три года еще была красавицей, и все в ней восхищало: правильные, нежные черты лица, белейшего цвета кожа, тончайшие каштановые волосы, высокий рост, пышные формы. Если кто и находил в ней изъян, так это лишь малоприметную тучность.

Все горожане с почтением уступали дорогу священной коллегии, и все благословляли весталок и просили их поусердней молиться богам за спасение Рима.

Когда почтенная процессия пересекала священный Палатинский холм, многие видные горожане сидели навеселе за трапезой, за очень пышно уставленными столами под портиком дома Луция Эмилия Папа, консулара, человека бывшего порядчнее многих других людей его возраста.

– Ты хорошо сделал, – говорил Эмилий Пап Фабию Максиму, который, проходя мимо в сопровождении двадцати четырех ликторов, бывших одним из отличий диктаторского достоинства, получил от Папа приглашение задержаться и совершить возлияние в честь богов, – ты хорошо сделал, что устроил лектистерний и предварил голосованием по «священной весне» и пышными жертвами богам любое другое решение по поводу войны.

– Послезавтра, когда закончатся празднества и торжества, – ответил диктатор, – соберется сенат, и мы определим, что надо сделать для спасения республики. Хотя мне доверили верховную власть и она ненарушима и неоспорима, я не собираюсь лишать себя разума сената и его мудрых советов; я хотел бы и далее пользоваться его содействием и поддержкой во всех своих поступках¹⁴.

– Ты, о благочестивый и предусмотрительнейший Фабий, станешь спасением Рима, – произнес Марк Клавдий Марцелл, также сидевший за этим столом.

– И только ты сможешь победить Ганнибала, – добавил Павел Эмилий.

– И ты его победишь!.. – пылко подхватил Гай Клавдий Нерон.

– С помощью богов и затягивая кампанию, – улыбнувшись, скромно ответил Фабий Максим.

– Значит, ты не обрушишься на него бурным натиском во главе легионов? – спросил молодой патриций, явно разочарованный в своих ожиданиях. – Клянусь Юпитером Громовержцем, нам нужна быстрая и громкая победа. Надо восстановить нашу славу, поверженную в грязные воды Тицина, Требии, Тразименского озера. Надо, чтобы наши орлы были увенчаны прежними завоеваниями и резней карфагенян. Надо быстрее смыть позор унижения, нанесенного нам Ганнибалом, вождем солдатского сброда, предводителем разноплеменных воров, который ведет себя в Италии как хозяин и грабит ее.

Слова Нерона, отмеченные тем юношеским пылом истинного римлянина, который бурлил в его патрицианской крови, вызвали новую улыбку на лице диктатора, и он ответил спокойно и медленно:

– Сдержи свой пыл, юноша; твое благородное негодование не позволяет тебе осознать, что этот Ганнибал, вождь разношерстного ополчения и воров, как ты назвал колонны, которыми он командует, уже дал доказательства того, что он один из храбрейших и умнейших военачальников, хотя и молод так же, как ты... Может быть, даже самый храбрый и мудрый из тех, что до сей поры поднимали оружие против Рима. Ты забыл, что эти нумидийцы, галлы, испанцы, которых ты назвал ворами, – воины доблестные и смелые, каких мы никогда прежде не знали, что они уже разбили в четырех сражениях наши легионы. Они показали себя храбрыми и уверенными в своих силах, тогда как наши солдаты оказались трусливыми и обескураженными. Италия враждебна к Ганнибалу, она привязана к нам и остается нам верной. У наших легионов достаточно продовольствия. Они пользуются всеобщей поддержкой. Ганнибал, если я не пойду на него очертя голову и не стану ввязываться в сражение, а только лишь сожму его в окружении, очень скоро почувствует недостаток самых необходимых вещей. Надо

¹⁴ И великий человек так и поступал на деле. Тит Ливий. XXII. 11 и сл.; Полибий. III. 87 и сл.

преследовать врага, следить за ним, но не доводить дело до рукопашной, пока все обстоятельства не будут благоприятными для нас, а для карфагенян губительными.

Эти слова были встречены всеобщим одобрением, и все присутствующие были довольны тем, что избрали в диктаторы именно такого человека.

Как раз в это время толпа, сопровождавшая процессию весталок, проходила перед домом Эмилия Папа, и все сидевшие за столами поднялись и склонились перед жрицами, а двадцать четыре ликтора, сопровождавших диктатора, опустили свои фасции.

В большой толпе народа, сопровождавшей процессию, шел одетый в белую тогу и увенчанный венком из роз нумидиец Агастабал.

– Смотри-ка! – воскликнул, заметив его, Гай Нерон. – Грязная нумидийская или карфагенская морда! Что он делает в Риме?

– Вероятно, вольноотпущенник, поскольку римским гражданином он быть не может – о том свидетельствует цвет его кожи. Но это и не раб, потому что одет он в тунику и тогу свободного человека, – ответил Павел Эмилий.

– Да будь он проклят, и пусть его заберет Плутон и держит в самых глубоких пучинах ада! – воскликнул Нерон.

– Не стоит так думать и говорить, Клавдий, – укоризненно произнес Эмилий Пап, – да еще сегодня, когда все мы должны стать братьями, соединившись в любви и обожании богов. Сегодня даже незнакомый нам чужестранец имеет право сидеть за нашей трапезой, и его надо считать римлянином, потому что он празднует лектистерний, облачившись в незапятнанную тунику и увенчав себя венком из белых роз.

И, возвысив голос, он обратился к Агастабалу, уже было миновавшему дом Папа:

– Эй... Нумидиец... Нумидиец... Карфагенянин... кто бы ты ни был, садись за хлебосольный стол Луция Эмилия Папа.

Агастабал обернулся на звук этого голоса и, принимая приглашение, кланяясь и посылая воздушные поцелуи, вошел под портик и заговорил на скверной латыни:

– Привет тебе, любезный патриций, привет всем сидящим здесь благородным гражданам. Я выпью за твоим столом за спасение и величие Рима.

Он выпил, а на рассерженные вопросы бросавшего злые взгляды Нерона смиренно, но честно ответил, что он и в самом деле нумидиец родом, взят в плен во время Первой пунической войны и был рабом, но теперь, по милости своего господина, освобожден, занимается плотничьим делом и бесконечно предан Риму, своей новой любимой родине¹⁵.

– Ты знаком с Ганнибалом? – помолчав, спросил его Нерон.

– Как мог я это сделать, если ему всего тридцать лет, а мне уже сорок четыре? С девятилетнего возраста и вплоть до прошлого года он находился в Испании, а я вот уже двадцать четыре года живу в Риме.

– Не слишком-то ты преуспел за это время в нашей речи! – иронически бросил Нерон, уставившись своими небесно-голубыми сияющими глазами в маленькие, черные, злые зрачки карфагенянина.

– Нумидийцу очень нелегко усвоить элегантные выражения вашего прекрасного языка.

– У меня у самого есть рабы-нумидийцы; они живут в моем доме не больше десяти – двенадцати лет, а говорят на языке Латия гораздо лучше тебя, а если уж говорить правду, то и получше меня.

– Они просто очень способные.

– Мне кажется, что ты обделен умом, – добавил молодой патриций, все время пытливо разглядывая нумидийца.

¹⁵ Чтобы читатель не думал, что Агастабал выдуман автором, напомним известные строки Тита Ливия (XXII. 33): «В эти же дни был схвачен карфагенский лазутчик, который два года тайлся в Риме...» (пер. М.Е. Сергеев и т. д.

– К сожалению, это так.

Последовало короткое молчание.

– А сейчас, когда ты видишь, как нумидийцы и карфагеняне грабят Италию и приближаются с угрозами к самому Риму, не возникло ли у тебя желания перебежать в их ряды?

Вопрос этот Агастабалу задал всего лишь двадцатилетний юноша красивой наружности и крепкого телосложения, черноволосый и черноглазый. Это был Луций Цецилий Метелл, представитель того знаменитого рода, о котором вскоре будут говорить, что там все мужчины рождаются консулами¹⁶.

– А зачем мне оставлять эти священные стены, за которыми я живу в счастье и покое, зарабатывая своим плотницким ремеслом больше того, что мне нужно, и подвергать себя серьезному риску, занимаясь безумным делом, которое не принесет ничего хорошего ни мне, ни всем нумидийцам?.. Вы, римляне, очень заблуждаетесь, считая нумидийцев друзьями и верными союзниками карфагенян... Это заблуждение!.. Серьезное заблуждение! Мы, нумидийцы и карфагеняне, понимаем зло, идущее от плохих поступков наших владык, которые на самом деле не являются ни друзьями, ни союзниками¹⁷; и если вы, римляне, как я верю и надеюсь, перенесете войну на африканскую землю, то очень скоро убедитесь в правоте моих утверждений.

Слова эти, произнесенные с видимой, несколько грубоватой искренностью, с угрюмым, почти дерзким выражением лица, хотя и так, что их должны были сразу понять, возымели действие, какое хитрый карфагенянин ожидал от них.

Подозрения рассеялись, сомнения улетучились, и *доброму нумидийцу* – как его стали называть самые разговорчивые из гостей Эмилия Папа – снова налили выпить, и он осушил кубок за благополучие и величие Рима, а потом собрался попрощаться и уйти от пирующих.

Выйдя из-под портика дома Папа, он увидел чуть в сторонке трех или четырех рабов, помогавших при сервировке стола, а теперь стоявших, скрестив руки на груди, опираясь спинами о стенку.

Один из этих рабов заметил Агастабала, который по внешнему виду сразу же признал в нем африканца и, задержавшись возле него на мгновение, спросил у него по-нумидийски:

– Ты африканец?

– Африканец, – ответил раб на том же языке, распрямляясь, словно сжатая пружина, и направляясь к карфагенянину, чтобы любезно помочь тому завернуться в тогу.

– Карфагенянин?

– Карфагенянин.

– Римлян любишь?

– Ненавижу, – сказал вполголоса раб, скрежеща зубами.

– А хотел бы ты здесь, в Риме, помочь великому Ганнибалу в его благородном деле?

– Я на все готов.

– Где и когда я смогу тебя найти? – В девять, на Форуме Олитория.

– Тогда до скорого.

И Агастабал, бормотавший свои слова очень быстро и вполголоса, совсем не глядя в лицо рабу, удалились от дома Папа.

Весталки тем временем прибыли на Капитолий, к храму Юпитера Статора, перед которым стоял триклиний с возвышавшимися на нем статуями Юпитера и Юноны. Не стоит и говорить, что самые изысканные кушанья, какие только могла в те времена придумать и приготовить римская кухня, были выставлены на покрытый пурпуром стол, накрытый здесь с величайшей роскошью триумвирами-эпулонами.

¹⁶ Веллей Патеркул. 1.1.

¹⁷ Диодор Сицилийский. Фрагмент из XXV книги.

Огромная толпа людей собралась на ступеньках и под портиком храма, а также во всей округе, так что, освобождая проход весталкам, люди устроили давку, а весталки, взглянув на лектистерний, вошли в храм всемогущего сына Сатурна, где приступили к молитвам. Когда обряд был закончен и ликторы стали прокладывать в толпе проход для святых дев, один из триумвиров-эпулонов, находившийся возле храма Юпитера во время прибытия процессии, передал через рабов весталкам на чудеснейшем серебряном подносе крендели, родосское печенье, считавшееся в те времена самым вкусным, и прочие сделанные на меду сладости, а на другом подносе, похожем на первый, серебряные бокалы и две золотые амфоры, наполненные одна превосходным старым массийским вином, другая – водой.

И тогда все горожане, находившиеся возле храма, а в особенности патриции и лица, записанные в одну из жреческих коллегий, торопливо столпились вокруг весталок и тех из сопровождавших их матрон, кто мог входить за священную ограду, чтобы услужить девам, налив вина и разбавив его водой, а потом протянув крендели, печенье и пирожные.

Едва появились рабы, несшие из храмовых помещений подносы, как Луций Кантилий, закутанный в снежной белизны ангустиклавную тогу с очень элегантными складками и в венке из белых роз на аккуратно уложенных волосах, вошел в освобожденное для прохода весталок пространство, приблизился к максиме и, почтительно поприветствовав ее, сказал:

– Не окажешь ли мне честь, целомудреннейшая Фабия, позволив налить тебе в бокал несколько капель массийского?

И, говоря это, он поднес ей одну из чаш, плеснув туда из амфоры немножко вина.

– Добавь же и воды, очаровательный Луций Кантилий, – проговорила прекрасная Фабия, награждая кроткой улыбкой юношу за его услужливость.

Секретарь верховного понтифика добавил воды, а потом, быстро повернувшись к Флоронии, протянул и ей бокал, смешав в нем вино с водой, и громко сказал:

– Вот и тебе прозрачная смесь, целомудренная Флорония.

А вполголоса скороговоркой добавил нежно и ласково, почти как слова молитвы:

– Люблю тебя, люблю и, как безумный, чем больше получаю твоей любви, тем больше люблю.

Флорония побледнела, руки ее дрогнули, и, подняв глаза на Луция Кантилия, она посмотрела ему в лицо долгим, неопишуемым, влюбленным взглядом, а потом, как всегда происходило в подобных случаях, многие мужчины смешались с женской процессией, чтобы услужить им и поприветствовать, и поболтать с ними, разделяя девственниц и матрон, и Флорония, таким образом, воспользовавшись благоприятным случаем, прошептала чуть слышно юноше, наклоняя голову к бокалу и медленно поднося его к губам:

– Наша любовь святотатственна, и я стыжусь ее, боюсь, и тем не менее она мне дороже чести и самой жизни.

На этот раз Луций Кантилий, услышав звучание этих нежнейших слов, которые, подобно шелестению зефира, ласкали ему слух, почувствовал, как огненная волна приливает к лицу и голове, и на какое-то мгновение больше ничего не видел и не понимал, но, опьяненный любовью, невольно прошептал приглушенным от смущения голосом:

– О, вернись... скорее вернись в мои объятия, божественная Флорония!

– Молчи... неосторожный, – прошептала девушка, протягивая дрожащими руками бокал Луцию Кантилию.

А тот, принимая чашу, судорожно сжал пальцы весталки и, наклонившись, спросил:

– Когда же?... Послезавтра?

– Да, – прошептала девушка едва слышно, слегка стряхнув тыльной стороной правой руки одежду, будто бы смахивая с нее крошки печенья.

Луций Кантилий сделал несколько шагов, чтобы поставить бокал, из которого пила весталка, на поднос, протянутый ему рабом.

Множество священников и патрициев, обступивших девственников и ловивших каждое слово, к ним направленное или от них исходившее, не обратили никакого внимания на диалог между весталкой и всадником, тем более что он внешне напоминал простой обмен ничем не значащими фразами; про то, что произошло между двумя молодыми людьми, было понято в малейших деталях Опимией, которая, держа в руках бокал и время от времени приближая его к устам, не отрывая своих черных сверкающих глаз, уставилась на влюбленных и напрягла все свое внимание, стараясь понять жесты и движения губ своей наперсницы и секретаря первосвященника. Опимия не заметила никаких или почти никаких изменений в поведении лиц, окружавших ее и старавшихся услужить ей, а среди таковых были Луций Апулний Фуллон, консуляр и один из триумвиров-эпулонов, а также отец ее Луций Кассий Опимий.

– Тебе, может быть, не нравится это вино? – обратился к ней эпулон.

– Да, – ответила Опимия, не отрывая глаз от Кантилия и Флоронии и снова поднося бокал к губам.

– Ты что-то задумчива и рассеянна, возлюбленная дочь моя?..

– Нет, – возразила Опимия, отхлебнув разбавленное водой вино.

– Ты взволнована!.. Отчего это, Опимия? – продолжал свои расспросы отец, пытливо всматриваясь в стянувшееся от напряжения лицо и в негодующие взгляды весталки.

– Да нет же, – раздраженно ответила девушка.

– Почему ты побледнела?.. Что тебя беспокоит?

– Да ничего, – сказала она дрожащим голосом, отдавая отцу бокал, но внезапно лицо ее покрылось смертельной бледностью, и девушка, почувствовав, что у нее подгибаются ноги, вытянула руки, словно пытаясь за что-нибудь ухватиться, но, не найдя иной опоры, упала прямо в объятия Луция Апулия Фуллона, к счастью, поспешившего ей на помощь.

* * *

Как только празднества закончились и были принесены все жертвы, Фабий Максим сразу же созвал сенат и спросил, что надо сделать для спасения Республики. Тщательно обсудив положение Рима и его врагов, сенат единогласно постановил: *передать диктатору войско от консула Гнея Сервилия – пусть он наберет из граждан и союзников столько людей в пехоту и конницу, сколько сочтет нужным для блага государства*¹⁸.

Тогда Фабий с быстротой и энергией, которых мало кто подозревал в нем, внешне таком тихом, осторожном и спокойном, приказал набрать два легиона *поспешных* солдат и приказал им обязательно явиться через десять дней в Тибур, куда он отправил Марка Минуция Руфа, начальника конницы¹⁹.

К нему шли самые отважные юноши из римского патрициата, прося не званий, а только возможности воевать под его началом простыми солдатами. Многих он принял, и среди них Гая Клавдия Нерона, которого он назначил легионным трибуном; многих просил остаться в Риме, чтобы защищать город.

Больше всего тронуло Фабия предложение Марка Клавдия Марцелла и Павла Эмилия, консуляров, то есть людей известных, идти сражаться с Ганнибалом под его, Фабия, началом.

– Я никогда не позволю, чтобы люди, способные командовать, подчинялись в этой войне мне, особенно тогда, когда их авторитет, их советы, их мнения, а прежде всего их доблесть делают необходимым их присутствие здесь, в Риме.

¹⁸ Тит Ливий. XXII. 11; Плутарх, Фабий Максим.

¹⁹ В обстоятельствах наиболее опасных, когда не было уже времени проводить набор по установленным нормам, отказывались от формальностей и набирали легионы в спешке (а тумульту); набранных таким образом солдат называли поспешными, или внезапными. – Вегеций. 1. 7; Тит Ливий. XXXV. 2 и 23.

Так ответил Фабий, который, закончив с необыкновенной быстротой свои приготовления, выступил из Рима через пять дней после принятия верховного командования. Перед ним шли двадцать четыре ликтора, а за ним растянулись почти весь сенат и огромная толпа народа. Он направился по Фламиниевой дороге в Окрикул, где стояла лагерем армия консула Фламиния в составе двух легионов и небольшого количества конницы – большая часть которой двадцатью днями раньше была разбита вместе с Гаем Центением – и тысяч шести союзных войск. Всего же там собралось около двадцати тысяч человек.

Консул знал, что к нему приближается диктатор. Он вышел навстречу, послав вперед двенадцать своих ликторов, а сопровождали консула квестор Фульвий Флакк, трибуны, центурионы и контуберналы.

Но Фабий, весьма чувствительный к традициям отечества и столь же обожавший – с полным основанием – авторитет власти, увидев, что к нему приближается вслед за фасциями консул, выслал Клавдия Нерона, который немедленно отправил ликторов в распоряжение диктатора, ставшего единственной верховной властью на шесть предоставленных ему месяцев, и подчиненному следовало отказаться от всяких знаков властного достоинства.

Что же сделал Гней Сервилий? Он сошел с коня и безо всяких ликторов пошел передавать командование армией в руки Фабия.

А тот немедленно провел смотр легионам и приказал консулу отправляться с ними в Остию, собрать там столько судов, сколько только возможно, и выйти с ними в море, чтобы прогнать карфагенский флот, пиратствующий в Средиземном море, опустошая побережья. Сам же диктатор, свернув лагерь в Окрикуле, пошел с армией скорым маршем в Тибур, где находились два легиона, собранные Марком Минуцием, и конница, которую Фабий приказал набирать в большем, чем обычно, количестве, чтобы возместить потерю убитых в консульском войске.

Фабий снова устроил смотр четырем легионам и шести тысячам конников, а также прибывшим в течение двух дней подкреплению союзников, достигавшим почти двенадцати тысяч человек. И с этой почти сорокатысячной армией он выступил на Пренесту. Следуя большими переходами, солдаты вышли на Латинскую дорогу и поспешили навстречу Ганнибалу, которого консул настиг возле Арпина.

Осторожный и предусмотрительный полководец ожидал наступления ночи, прежде чем приблизиться к неприятелю, когда можно будет послать разведчиков исподволь понаблюдать за карфагенянами. Едва стуслилась темнота, Фабий отдал приказ подойти к лагерю Ганнибала, который, значительно превосходя римлян числом и качеством кавалерии, всегда ставил палатки на равнине. Именно по этой причине Фабий повел армию по обрывистым кручам и велел там разбить лагерь, лично наблюдая за рытьем рва и строительством мощного частокола. Эти работы затянулись далеко за полночь. Потом все проходы через изгородь были хорошо укреплены, диктатор выставил усиленные караулы и приказал солдатам отправляться на отдых.

Ганнибал был очень обрадован приходу римлян. Он резонно предполагал, что они с нетерпением рвутся в новое сражение, чтобы смыть позор недавних поражений, и карфагенянин надеялся полностью разбить их в пятый раз, а сразу же после этого идти на Рим. На рассвете Ганнибал вывел войска и расположил их обычным способом, придуманным им самим, одним из умнейших, если не самым умным среди античных и современных тактиков. Потом он послал нумидийцев провоцировать римлян на битву.

Но Фабий не сдвинулся с места ни в этот день, ни в последующие, хотя Ганнибал верхом приближался к лагерю и вызывал римского полководца на поединок.

Два-три первых дня в римском лагере царило спокойствие, и все послушно ждали приказаний диктатора. Однако назойливость нумидийцев росла, они швыряли дротики почти от самого оборонительного вала римлян, и карфагенские провокации становились все кровавее, солдаты начали роптать и с неприязнью относиться к тому инертному и пассивному ожида-

нию, на которое осуждала их тактика полководца, которую они уже стали называть чрезмерной осторожностью.

Ганнибал понял, что римляне наконец-то нашли военачальника, способного противостоять ему, и в какой-то степени даже обрадовался, думая, что покроет себя большей славой, если победит опытного и выдающегося вождя. Но отчасти он был недоволен, понимая, что осторожность, пришедшая, наконец-то, на смену порыву, намного затрудняет разгром римлян.

Стало очевидно, что Фабий не собирается покидать лагерь, а высылая за укрепления римских воинов, делает это осторожно и осмотрительно, не разрешая выходить за вал маленьким отрядам, а отправляя лишь крупные и хорошо организованные подразделения. Убедившись в этом, Ганнибал после семи или восьми дней передышки неожиданно свернул лагерь и направился в Самний, куда пришел через два дня и принялся жечь, грабить, разрушать дома, селения, нивы и виноградники, надеясь вынудить Фабия дать сражение.

Однако Фабий, осторожно следуя за Ганнибалом на расстоянии одного дневного перехода, всегда ставил лагерь невдалеке от карфагенского, и обязательно на возвышенностях, и постоянно оставался только свидетелем разрушений, учиняемых неприятелем.

Ганнибал разграбил город Беневент, римскую колонию, а Фабий оставался невозмутимым; карфагенинин штурмом взял город Телезию и отдал его в руки солдатни, Фабий оставался невозмутимым; африканец ворвался в плодородную, ласковую, счастливую Кампанию, оставляя за собой кровь и разрушения, Фабий оставался невозмутимым.

За двадцать дней Фабий, часто сам выходивший во главе своих летучих отрядов, которые он всегда формировал преимущественно из кавалерии, четыре или пять раз ввязывался в стычки с карфагенинами, причем в местах и в условиях, благоприятных для него и неблагоприятных для врага. Верх в этих мелких стычках всегда одерживали римляне; они даже убили сто двадцать три нумидийца, а своих потеряли всего тридцать семь человек. В плен были взяты две сотни галлов; собственные же потери были крайне незначительными. И наконец у карфагенских грабителей была отбита захваченная ими добыча.

Но эти выигрыши, эти малюсенькие победы не уменьшали, а, наоборот, увеличивали недовольство в римском лагере, где чрезмерную осторожность диктатора начинали называть апатией, ленью, непригодностью; насмешки над диктатором сначала произносили чуть слышно, потом шептали вполголоса и наконец стали говорить так громко и повсеместно, что они непременно должны были дойти до самого Фабия.

Но Фабий оставался невозмутимым и верным своей выжидательной тактике.

Однако Марк Минуций Руф, начальник конницы, думал не так. Он был человеком, наделенным безудержной храбростью и необыкновенной силой, правда, его умственные способности были довольно ограниченными.

По происхождению он был плебеем; выросший среди лагерной и военной жизни, в неистовстве храбрых деяний, он собственной отвагой и старанием, медленно-медленно, от одного чина к другому, добрался до высших должностей и был в конце концов поставлен консулом в 532 году, то есть за пять лет до начала нашей истории, вместе с патрицием Публием Корнелием Сципионом Азиной; вместе с ним он успешно воевал на суше и на море с истриями, которые, захватив множество трирем, с невероятной дерзостью пиратствовали на Адриатике и в Ионическом море, нанося большой ущерб Риму.

Став сенатором, Минуций Руф отличался на заседаниях молчаливостью. Фабий Максим был педантом в соблюдении обычаев и законов и, когда пришла пора избрать начальника конницы, остановил свой выбор на плебее, чтобы все военные дела оказались в руках патриция и плебея. Среди последних, известных опытностью и укоренившейся привычкой к военной дисциплине, он считал уместным выбрать Минуция Руфа, который из-за своей стойкости и суровости пользовался славой человека, наводящего на врагов страх.

И, похоже, это был единственный просчет Фабия в *его* планах на шесть месяцев диктатуры, хотя во всем остальном любая мелочь шла в соответствии с его задумками, его основательными соображениями, предвидениями.

Однако то ли консульское достоинство, которого вопреки ожиданиям добился Минуций, зажгло его запоздалые мечты, то ли он в самом деле считал своим недалеким умом, что пришло время дать бой Ганнибалу, то ли от жажды громкой славы у него зашумело в голове и побудило стремиться к триумфу, но перед бесстрашием диктатора даже Минуций принялся выступать против него, называя полководца медлительным и неспособным, делая это вначале довольно нерешительно, а потом говоря открыто и в полный голос.

Последние переходы Ганнибал делал так быстро, что римляне совсем потеряли его из виду.

В лагере Фабия это обстоятельство только усилило кривотолки: все, мол, было сделано для того, чтобы Ганнибал ушел от них. Упущен благоприятный случай сразиться с врагом и победить его. А теперь неприятель, оторвавшись от римских легионов, мог бы предать огню и мечу самые лучшие итальянские земли или приблизиться к побережью и, переправившись через пролив, очистить от римлян Сицилию.

Об этом говорили вслух, но Фабий, делая вид, что не слышит эти речи, которые, естественно, умолкали, едва появлялся диктатор, приказывал свертывать лагерь и длинными переходами устремляться по следам Ганнибала, за продвижением которого издали следили римские разведчики.

Карфагенянин, фактически вдохновленный некоторыми кампанскими всадниками, плененными им в битве на Тразименском озере и по соображениям политическим, стоящим куда выше восхвалений, освободив их, решил направиться к Капуе. Освобожденные уверили Ганнибала, что этот город, издавна ревнуя Рим и враждуя с ним, не будет отчаянно защищаться, и овладеть им не составит никакого труда. Ганнибал попросил проводника отвести его в окрестности Казина, потому что понимал: займи он этот проход, римляне не смогут оказать помощь союзной Кампании.

Но то ли проводник плохо понял просьбу Ганнибала, то ли на самом деле захотел обмануть его, но он вывел карфагенского вождя совсем в другое место – в окрестности Казилина, то есть к устью Вултурна, к болотистым низинам, подходящим почти к самому морю. Ганнибал, разгневанный ошибкой проводника, может быть, и невольной, приказал высечь его розгами и распять на кресте, а потом послал Магарбала, командующего карфагенской кавалерией, грабить фалернские земли.

Магарбал со своими нумидийцами промчался до Синуэссы, грабя и опустошая эти плодороднейшие края. Великий ужас распространился по всей Кампании, а людская молва, преумножая злодеяния в сотни раз, разносила жуткие истории о грабежах и убийствах до стен Неаполя, Помпеи, Капуи.

В это время Фабий Максим занял холмы у подножия Массики, откуда увидел лагерь Ганнибала на Вултурне и зарева на огромном пространстве фалернских и синуэсских полей.

Последние переходы, сделанные фабием в быстром темпе, способствовали умиротворению недовольства в легионах. На этот раз, настигнув Ганнибала, солдаты хотели сразиться и одержать блестящую победу, захватить добычу и получить почести триумфаторов.

Так думали все, но Фабий, заняв великолепную позицию на горе Массике, поставил там лагерь и ни в этот день, ни в последующие не решился напасть на неприятеля.

На этот раз неспособность и апатия Фабия были сурово осуждены войском; его прямо называли трусом.

Фабий, однако, чутьем великого полководца понимал, что Ганнибал, сбившись, верно, с дороги, оказался в сетях, которые долго расставлял на него римлянин. Фабий почти мгновенно понял, что, прикрыв проходы среди холмов, которые могли вывести врага в Латий или Кам-

панию, он поставит в крайне тяжелое положение карфагенян, оказавшихся посреди нездоровой, болотистой местности зажатыми между римскими легионами и морем. Фабий приказал небольшим гарнизонам занять гору Калликула и городок Казилин, а сам, оставаясь на высотах Массики, стал ожидать, когда враг рано или поздно вынужден будет принять бой в этой гористой местности, где его знаменитая конница не сможет сделать ничего серьезного.

Но на позициях римлян крики большей части трибунов и центурионов, дерзкие шпильки начальника конницы, дурное настроение солдат начинали принимать характер мятежа.

– Ну и что? – бушевал Луций Гостилий Манцин, один из консулов, через три дня после прихода армии на Массику, стоя посреди большой толпы центурионов, контуберналов и декурионов на Пятой улице римского лагеря, – ну и что теперь?.. У нас сильные руки и крепкие мечи, у нас четыре легиона, шесть тысяч конницы, с нами двенадцать тысяч союзников, а мы будем беспомощно смотреть на то, как гибнет Италия? Сорок тысяч римских воинов, сложа руки, наблюдают, как сорок тысяч бандитов безнаказанно грабят лучшие римские земли? Почему же тогда мы – ради всех небесных и подземных богов – не пойдем к Ганнибалу и не бросим ему под ноги наше оружие? Почему же тогда не попросим у него как милости, чтобы он отправил нас невольниками в бесплодную, выжженную солнцем Африку, чтобы мы там дробили своими руками сухие комья, чтобы растили там виноград, из которого карфагенянин приказал бы делать вина для своих пиров? О, клянусь всеми молниями всемогущего Юпитера! В хорошие руки мы отдали судьбу всего нашего добра. Я думаю, что человека более беспорядочного и слабого, чем этот наш диктатор, не рождалось ни среди римлян, ни среди варваров с тех пор, как солнце озарило землю.

– Ты прав, Гостилий.

– Это преступление!

– Это измена, клянусь богами!

– Да, нас предали.

– Фабий Максим трус!

– Изменник... подлец.

– Клянусь Марсом, мы хотим драться!

– Мы не хотим разделить вместе с ним позор этого преступного бездействия.

Такие и подобные выкрики слышались из толпы трех или четырех сотен средних и младших офицеров римских легионов, когда возвысил свой голос юноша, едва лишь семнадцатилетний, среднего роста, сложения скорее хрупкого, с нежной бело-розовой кожей лица, большими живыми голубыми глазами, с чертами резкими и строгими, одетый как простой легионер, но розовая повязка на его руке выдавала в нем одного из знаменосцев²⁰; суровым тоном он с упреком воскликнул:

– Есть изменники в этом лагере, но только не в палатке диктатора.

– Кто это такой?..

– Один из знаменосцев...²¹

– О-ёй! – с сардонической усмешкой сказал Гостилий Манцин. – Он только кажется знаменосцем, на самом же деле это скрытник!

– Рорарий²²!.. – добавил насмешливо какой-то центурион.

²⁰ Этим именем называли солдат, отличавшихся необыкновенной храбростью и отвагой, которых собирали в один манипул и располагали в битве перед значками легионов, чтобы эти воинские реликвии не попали в руки врагов (Тит Ливий. IX. 39; Юлий Цезарь. Записки о гражданской войне. 1. 57).

²¹ **Скрытниками** в римской армии называли сверхштатных солдат, которые сопровождали войска, чтобы встать на место раненых и убитых. Они не носили панциря, были одеты только в туники и не имея оружия – ни наступательного, ни оборонительного (Вегеций. III. 17).

²² **Рорарии** – категория солдат, которые сражались с неприятелем без доспехов, копий и мечей; они бросали в гущу врагов свинцовые снаряды, а защищались только одним щитом (Тит Ливий. VII. 8; Варрон. О латинском языке. VII. 58).

– Возбудитель²³! – вставил с издевкой опционат.

– Я солдат, любящий дисциплину, прославившую значки наших легионов; я гражданин, который хотел бы подражать доблести наших предков, и, что касается меня, постараюсь делать это всю свою жизнь; я из тех, кому нравится подчиняться сегодня, чтобы назавтра приказывать и командовать.

Так отвечал юный и гордый солдат, которого звали Марком Порцием Приском. Выполняя обещание, данное Фабию Максиму, он облачился в мужскую тогу, хотя ему едва исполнилось семнадцать, и записался в один из легионов, образованных всего за несколько дней до его совершеннолетия. В первой же стычке с Ганнибалом Марк Порций проявил недюжинную смелость и с такой сноровкой, с таким мастерством владел мечом, что вызвал восхищение сражавшихся рядом с ним центурионов, опционатов и простых воинов. О нем сразу же доложили диктатору как о солдате, достойном быть причисленным к знаменосцам, которых именно в этот день отбирали в его Третьем легионе.

А на посыпавшиеся на него насмешки молодой знаменосец ответил, вспыхнув лицом, но сохраняя чувство собственного достоинства и воодушевление в голосе и жестах:

– Скрытник, рорарий или возбудитель, как вам больше понравится, но я сейчас же докажу с мечом в руках, сколько бы вас ни было, что вы прескверные граждане и никудышные солдаты.

Взрыв презрительных выкриков встретил слова молодого знаменосца, и многие подошли даже на несколько шагов к нему, собираясь окружить храбреца, а он, отступив на шаг, положил правую ладонь на рукоять меча, собираясь уже вынуть оружие из ножен, когда раздался повелительный голос:

– Ола!.. Что это вы делаете?

Все обернулись на этот голос, принадлежавший человеку, неожиданно появившемуся в этот миг, и отступили назад, проявляя при этом почтение и уважение.

Человеку, подошедшему в это время на Пятую улицу, было лет под пятьдесят. Был он высокого роста, крупного телосложения, мускулистый, седоволосый, с загорелым, суровым, твердым лицом. Поверх простых, но крепких доспехов был накинута широкая шерстяная плащ пурпурного цвета (*палюдаменций*), носить который положено было только диктатору или начальнику конницы.

И этим человеком был именно командующий конницей Марк Минуций Руф.

– Что здесь происходит? Из-за чего вы спорите? – строго спросил он после недолгого молчания.

Трибун Луций Гостилий сжато изложил командующему суть происходящего.

– Зря вы оскорбили этого юношу, – сказал Минуций, – он показал себя храбрейшим воином и заслужил всего за несколько дней право быть вписанным в ряды знаменосцев, но и он, еще молодой и необтесанный лагерями и военной службой, был неправ, когда глумился над вами, храбрецами, старыми и опытными солдатами, страдающими от позора, причиненного римским орлам.

Он замолчал. На Пятой улице ни один человек из толпы, заметно выросшей после прихода начальника конницы, не издал ни звука.

А тот, помолчав немного, обратился к Марку Порцию:

– Что знаешь ты, юноша, пусть даже тебя отличили накануне, что знаешь ты о войне?.. А раз уж ты никогда не дрался в битвах, то должен подчиняться тем, кто состарился, вынося в походах зной и холод, ведя жизнь среди опасностей и постоянных стычек на полях сражений. Я один из них; я тридцать три года воевал – и против карфагенян в Первую пуническую, и

²³ **Возбудители** относились к низшей категории воинов; у них не было ни щита, ни оружия, а сражались они камнями да кулаками (Тит Ливий. Т. 43; Варрон. О латинском языке. VII. 58).

против галлов, и против испанцев, и против истриев, и против сардов, и против корсиканцев, и против иллирийцев. Римляне всегда строго соблюдали дисциплину и любили ее, и я всегда был послушен моим вождям и их приказам. Но, клянусь Кастором и Поллуксом, за эти тридцать три года военной службы я никогда еще не присутствовал на спектакле, подобном тому, на котором пришлось побывать сегодня. То, что я увидел, было уже не благоразумием, а нерадивостью, не осторожностью, а трусостью. Разве Фурий Камилл, затягивая время и давая врагу возможность грабить всю Италию, освободил бы Рим от галлов? Разве Луций Папирий Курсор победил бы самнитов, лениво интригуя и прогуливаясь по землям врагов? А в мои времена разве Консул Лутаций Катул победил бы карфагенян в битве при Эгатских островах, ожидая, пока их корабли сбросят запас продовольствия и метательные машины, среди которых были и очень тяжелые? Или, скорее, и Лутаций Катул и Папирий Курсор, и Фурий Камилл одержали свои блестящие победы молниеносной быстротой атак и передвижений? Я, о храбрый и справедливый юноша, ревностный поборник дисциплины, но одновременно я не одобряю, и крайне не одобряю, инертность, медлительность, которые перестают быть осторожностью, а становятся серьезнейшей ошибкой, непростительной виной перед отчизной²⁴.

²⁴ Тит Ливий. XXII. 14; Плутарх. Фабий Максим.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.